



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ



МИХАИЛ КАЗОВСКИЙ

МАДЕМУАЗЕЛЬ СКУЛЬПТОР



Annotation

XVIII век. Князь Голицын, посол России во Франции, по приказу Екатерины II ищет в Париже скульптора, который сумел бы воплотить замысел императрицы — создать памятник Петру Великому. По рекомендации энциклопедиста Дени Дидро выбор падает на выдающегося мастера — Этьена Мориса Фальконе. Скульптор, конечно, соглашается, еще не подозревая, в какую авантюру ввязался. Хорошо, что поехал в Петербург не один, а взял с собой юную ученицу — Мари-Анн Колло, которая полна решимости во всем помогать учителю...

-
- [ОБ АВТОРЕ](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
-
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
-



Михаил Григорьевич Казовский

Знак информационной продукции 12+

ОБ АВТОРЕ

Михаил Казовский начинал свой творческий путь как сатирик — после окончания факультета журналистики МГУ 25 лет проработал редактором в журнале «Крокодил». За это время издал несколько книг в юмористическом жанре, его комедии шли во многих театрах страны, по повестям Казовского сняты два художественных фильма. В Союз писателей был принят в 1992 г. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.

В конце прошлого века увлекся исторической прозой. С тех пор вышли в свет семь его романов: «Дочка императрицы» — предыстория крещения Руси (1999, переиздан в нашем издательстве в 2013-м в двух томах — «Бич Божий» и «Храм-на-крови»), «Золотое на черном» — о знаменитом галицком князе Ярославле Осмомысле (2002), «Страсти по Феофану» — о великом иконописце Феофане Греке (2005), «Месть Адельгейды» — о судьбе внучки Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за германского императора (2005), «Топот бронзового коня» — о византийском императоре Юстиниане (2008), «Любить нельзя расстаться» — об исканиях младшей дочери Пушкина (2011), «Лермонтов и его женщины» — о личной жизни великого поэта (2012), «Крах каганата» — о судьбе Хазарин и ее отношениях с Русью (2013).

Также с 2006 года регулярно публикует исторические повести в журналах «Подвиг» и «Кентавр. Исторический бестселлер» — недавно была напечатана шестнадцатая. Особое место среди них занимают сюжеты, связанные с эпохой Екатерины Великой. Работая с этим материалом, Казовский решил очередную повесть посвятить тому, как в Петербурге создавался и устанавливался всем известный памятник Петру I — Медный всадник. Но по мере осуществления задуманного выяснилось, что фактуре и действующим лицам тесно в рамках повести: в результате родился новый роман — «Мадемуазель скульптор», который перед вами.

Что сказать о творческих предпочтениях писателя? Он традиционно работает в реалистической манере, строя сюжеты книг на основании подлинных фактов, но благодаря авторскому воображению

повествование у него всегда развивается динамично, занимательно, интригующе. Собственными литературными учителями называет Александра Дюма-отца, Алексея Толстого и Мориса Дрюона.

Узнать подробности о жизни и работе Казовского, прочитать прежние и новые его произведения, а также выразить свое мнение о прочитанном можно на сайте www.kazovski.ru

Избранная библиография автора:

«Дочка императрицы» (Интерхим, 1999; переиздание в двух книгах: «Бич Божий» и «Храм-на-крови», Вече, 2013)

«Золотое на черном» (АСТ, 2002)

«Мечь Адельгейды» (АСТ, 2005)

«Страсти по Феофану» (АСТ, 2005)

«Крах каганата» (Подвиг, 2006; Вече, 2013)

«Топот бронзового коня» (АСТ, 2008)

«Любить нельзя расстаться» (Амаркорд, 2011)

Каждый человек под конец жизни ощущает минуту, после которой он решает: дальше медлить нельзя, если не теперь, то потом будет поздно. Вот и у меня сей момент настал. Мне перевалило за семьдесят, неизвестно, сколько еще осталось, и уйти, не оставив воспоминаний о том, кто мне был бесконечно дорог и о ком почти что забыли у нас, во Франции, и в далекой России, не могу, не имею права. Я пережила его без малого на 30 лет. Он был старше меня на 33. Несмотря на это, я его любила всю жизнь. И люблю теперь. Он единственный, кто внушил мне великую любовь. Не считая дочери, конечно. Но любовь к дочери совершенно иная. А любил ли он меня? Думаю, что да. Мы по-своему были очень счастливы — первые семь лет нашего проживания в Петербурге...

Глава первая

МОЛОКО НА ГУБАХ

Йаму я не помню совсем. Мне, когда ее не стало, только-только исполнилось три, а братишке Жан-Жаку — полтора. Говорили, что она, поскользнувшись, упала с лестницы и расшибла голову. Мол, несчастный случай. По другой же, тайной, версии, мой отец в припадке ярости так ее избил, что случилось сотрясение мозга, от которого мамочка не смогла оправиться. В эту версию верю больше. Наш отец действительно иногда впадал в бешенство, сильно выпив. Мы в такие часы убегали с братом из дома, чтобы не попасть ему под горячую руку. Он крушил мебель, бил посуду, вспарывал перину. И потом, сильно утомившись, засыпал мгновенно посреди этого разгрома. А очнувшись и протрезвев, приводил дом в порядок и униженно каялся. В принципе, человек был незлой, относился к нам с братом хорошо, мы ни в чем не нуждались и ходили в первые классы общедоступной школы, он гордился нашими успехами. Только выпивка превращала его в зверя. Напивался не слишком часто — раз, наверное, в год, — мы уже заранее знали ранние признаки внутренней его подготовки к запою: бодрое, преувеличенно веселое настроение, яркий блеск в глазах, беспричинная улыбка, выполнение всех заказов загодя, чтобы не было конфликтов с клиентами, первые несколько рюмок — «проба сил», и затем стремительное обрушение в бездну. Тут-то мы с Жан-Жаком и пускались в бега.

А вообще как мастер наш отец ценился очень высоко. Был в правлении цеха башмачников. Туфельки для дам шил искусно. Получал заказы от шикарных аристократок со всего Парижа. Но и брал дорого. Обувь «от Колло» означала качество и вкус. На него трудились два подмастерья. Приучал и нас к ремеслу с детства — мне доверял пришивать к бальным туфелькам кружева и бантики, брат строгал колодки. Мы всегда с душой помогали отцу. Если бы не его запои, наша семья считалась бы самой благополучной.

В редкие часы отдыха каждый занимался своим любимым делом: нацепив очки, папа листал модные журналы, Жан-Жак ножом вырезал из дерева разные фигурки (больше всего удавались ему кошки и

собаки), я же рисовала. Грифелем по белой бумаге — краски не любила, черно-белая графика нравилась мне гораздо больше. Часто выходило похоже. В комнате моей по стенам висели портреты отца, брата, подмастерий и друзей-соседей. А один сосед, Габриэль Кошон, несмотря на свою фамилию^[1], — очень приятный господин, совладелец обувного магазина, — говорил моему отцу много раз, что меня следует отдать в обучение какому-нибудь художнику. Но родитель мой только усмехался: «Женщина-художник? Да такого не может быть. Ибо неженское это дело. А модели живописцев и скульпторов, так сказать, натурщицы, сразу же превращаются в их любовниц. Как могу толкнуть любимую доченьку на такую скользкую стезю? Нет и нет». Я и не печалилась — становиться художницей не хотела вовсе, рисовала так, просто для забавы, а в мечтах своих о будущем думала только о семье, о красивом и добром муже и о нескольких детках, трех-четырех, к примеру. На иное у меня фантазии тогда не хватало.

Но однажды случилось вот что. Выделялась среди клиентуры отца очень благородная дама — Анн Дидро, замужем за известным ученым Дени Дидро, — статная, высокая, очень приветливая. Каждый раз рукою в шелковой перчатке поднимала мой подбородок и, заглядывая в глаза, улыбалась: «Как дела, тетка?» Дело в том, что мое второе имя тоже Анн (полностью — Мари-Анн). Я всегда приседала в книксене: «Мерси бьен, мадам Дидро. У меня все прекрасно». И в один такой же прекрасный день, наблюдая, как отец снимает мерку с ножки мадам Дидро, быстро набросала на листе бумаги грифелем ее силуэт. А она вдруг спрашивает: «Что ты там рисуешь, шалунья?» Я смутилась и говорю: «Ах, мадам, это так, безделица, и не стоит вашего внимания». — «Нет, пожалуйста, покажи сейчас». — «Мне неловко, право». — «Нечего краснеть, покажи». И, увидев портрет, прямо охнула: «Пресвятая Дева, вылитая я! Как тебе это удалось?» Я пожалала плечами: «Не имею понятия, мадам. Просто вот смотрю на предмет, а рука сама водит». А мадам Дидро продолжает: «Ты талант, талант! Просто уникальный талант!» И — отцу, конечно: девочке надо учиться рисованию, живописи, мол, могу ее протезировать в художественных кругах. А отец, как всегда, ни в какую — повторяет свои слова про любовниц и про то, что неженское это занятие. А мадам Дидро как вспыхнет: «Перестаньте, мсье Колло, ваши речи в середине восемнадцатого века просто ни с чем не сообразны. Если женщины

ныне возглавляют такие империи, как Австрия и Россия, и справляются с этим не хуже многих мужчин, то какие могут быть разговоры о невозможности девочке стать художницей?» А отец: «Мне Мария-Терезия Австрийская и Елизавета Петровна Российская — не указ. Мари-Анн — дочь моя, и я сам решаю, кем ей быть и чему учиться». В общем, повздорили. А мадам Дидро, уходя, мне загадочно подмигнула, чем повергла в полное смятение — я не знала уж, что и подумать.

Словом, неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы вскоре не хватил отца удар. Мы с Жан-Жаком были в школе, как туда прибегает один из отцовых подмастерьей: поспешите, говорит, в мастерскую, там мсье Колло плохо. Нас, конечно, отпустили с уроков, и мы бросились домой. Папа лежал на диване и не отвечал на вопросы, задаваемые ему. А обследовавший его доктор, приглашенный нами, констатировал кровоизлияние в мозг. Дело, мол, серьезное: если не очнется в течение суток, то пиши пропало. Брат и я сидели около больного и ждали, время от времени обращаясь к нему: «Папа, папа, ты слышишь нас?» Он молчал. Но в какой-то момент нам почудилось, что отец начал бормотать. Я склонилась к его лицу, прошептала: «Ты меня слышишь, папа?» — и в ответ раздался слабый стон. Мы обрадовались, обретая надежду. Но напрасно: это был последний стон в его жизни. Папина душа отлетела на небо.

Остальное помню, как в тумане: похоронные хлопоты, гроб, стоявший в соборе, кладбище и разрытая могила... А затем, после погребения, подошел ко мне и к брату мсье Кошон и спросил, как мы собираемся жить самостоятельно. Я ответила, заливаясь слезами, что не знаю, так как нет у нас близких и родных больше. А мсье Габриэль сказал, что ему в магазине требуется мальчик на побегушках и он мог бы взять к себе Жан-Жака, поселить в комнате при магазине и назначить скромный пансион. Я, конечно же, сразу согласилась: в первую очередь надо было пристроить брата, не боясь за его судьбу, а потом уже думать о себе.

Вскоре брат переехал к мсье Кошону, а сама я, оставшись в одиночестве и поплавав как следует, вспомнила о заветных словах мадам Дидро. Разыскала в клиентском журнале у отца, где записывал он данные покупателей, в том числе и их адреса, по которым следует доставить выполненные заказы, как найти мою тезку. И, собравшись,

принарядившись, хоть и с соблюдением траура, я отправилась на улицу Святого Бенедикта, что в Латинском квартале. Поднялась на второй этаж, постояла возле дверей и, решившись, позвонила в дверной колокольчик. Появилась горничная: «Что желает мадемуазель?» — «Будьте так любезны, доложите мадам, что ее хотела бы видеть дочь башмачника Колло». — «Но мадам сегодня не принимает по причине нездоровья». — «Ах, как жаль!.. Дело в том, что отец мой умер, я в отчаянии и решила посоветоваться с мадам Дидро, проявлявшей ко мне ранее доброту и участие...» Неожиданно из квартиры мы услышали женский голос:

— Франсуаза, все в порядке, пропусти ее!

Горничная посторонилась, приглашая меня войти. Я, робея, переступила порог. Роскоши в убранстве не заметила: все, конечно, красиво и дорого, но особого шика не было. Удивили две вещи: полки с книгами и картины в дорогих рамах. Сосчитать количество книг мне не представлялось возможным — тысячи, тысячи, десятки тысяч! Неужели мсье ученый каждую прочел? Как сие возможно?

На пороге своего будуара появилась мадам Дидро в пеньюаре и кружевном чепце. Не напудренная и без макияжа выглядела она много старше, чем обычно: проступали морщинки возле глаз и губ. Ласково сказала:

— Ах, бедняжка, я сочувствую твоему горю... Твой отец был замечательный мастер. Пусть ему земля будет пухом!

Я, конечно, расплакалась от этих слов, а она обняла меня, словно мать, и прижала к своей груди:

— Полно, полно, голубушка — Бог дал, Бог взял. Твоего отца никогда не забудем, но придется приучаться жить без него.

Мы прошли в ее будуар, где стояла кровать с высокими спинками, зеркало о трех створках, столик с пузырьками и флакончиками, стулья, секретер...

— Хочешь кофе?

— О, мадам, — воскликнула я, — как могу я хотеть того, что ни разу не пробовала в жизни?

— Как, ни разу не пила кофе? — удивилась она.

— Мой отец считал, что сие нам не по карману. Да и чай пили тоже редко. Лишь обычную воду, иногда фруктовую, или сок из яблок, больше ничего.

Позвонив в колокольчик, собеседница моя позвала Франсуазу и велела принести нам кофе. Вскоре та возникла с подносом, на котором стояли чашечки, кофейник, блюдечко с пирожными, сахарница и молочник. Разливала сама мадам.

— С молоком? Сахаром?

Я растерянно сказала, что не знаю и что сахар в нашей семье не водился, вместо него шло у нас варенье или мед.

— Ну, тогда попробуй и сахар, и молоко. Вкусно?

— О, божественно!

— Рада, что доставила тебе удовольствие.

Выпив кофе, я слегка успокоилась и смогла как следует осмотреться. Обратила внимание на часы, что стояли возле кровати: циферблат, увитый виноградными лозами, и два ангелочка, прильнувшие к ним. Уловив мой взгляд, дама улыбнулась:

— Нравятся часы?

— Да, красивые. Только личики купидонов какие-то несуразные. Неживые, остекленевшие.

— Фу ты, Господи! — вырвалось у мадам. — Мне так не казалось, но теперь вижу — точно, неживые. У тебя меткий глаз. Настоящий художник.

Я, смутившись, потупилась. А она произнесла:

— Познакомлю тебя с моим супругом. На часах без пяти два пополудни — он обычно работает до двух и не любит, когда его беспокоят раньше времени, но теперь, я думаю, уже можно. Посиди пока в одиночестве. — И она упорхнула, вся в воздушных кружевах и облаке пеньюара.

Ждать пришлось минут двадцать. Я сидела, не шелохнувшись, чтобы ненароком не разбить кофейную чашку и вообще чтобы не сказали, будто из будуара что-то пропало после моего посещения. Наконец, заглянула Франсуаза и кивнула: господу зовут мадемуазель Колло в кабинет к хозяину. Проводила по коридору, подсказала: сюда. Я вошла...

О, мсье Дидро! Первое впечатление было самым ярким: карие глаза (левый чуть косил), очень добрые, смеющиеся, и веселая улыбка — так улыбаются люди, знающие себе цену. Матовое негрубое лицо. Седоватые, чуть взъерошенные волосы. Нос слегка приплюснутый и с большими ноздрями... Сразу захотелось нарисовать его портрет.

При моем появлении он привстал, сделал приглашающий жест рукой. Я присела в бархатное кресло. Он заговорил — голос его оказался выше, чем я ожидала, ближе к тенору, нежели к баритону:

— Рад знакомству, мадемуазель Колло. Мне жена поведала о ваших невзгодах — искренне сочувствую. И готов помочь, если это будет в моих силах. Каковы ваши собственные планы?

Тяжело вздохнув, я ответила:

— Затрудняюсь сказать, мсье Дидро. Мастерскую отца, видимо, придется продать — он был главный в ней, без него ничего не выйдет. Я пока останусь жить на втором этаже, над мастерской, и на вырученные деньги собираюсь пойти учиться — я умею шить, вязать, рисовать... Но определенно пока не решила.

Тут вступила мадам Дидро:

— Тезка скромничает, у нее выдающийся талант рисовальщика. Надо ее отдать в хорошие руки — грамотному учителю, и который думал бы именно об учебе, а не о том, как бы затащить юную красотку к себе в постель.

Мсье Дени рассмеялся этой скабрёзной шутке и с игривостью согласился:

— Да, да, я тебя понимаю, дорогая. Что ты думаешь о мэтре Лемуане?

Та, подумав, отозвалась:

— Неплохая кандидатура. У него немало учеников, правда, только юношей, но тем благотворнее — при девице сквернословить станут меньше. А почтенный возраст наставника станет гарантией от постельных домогательств.

— Хорошо, я поговорю с ним. И устроим встречу. Мари-Анн, приходите к нам в воскресенье на обед. К двум часам. Обязательно возьмите с собой свои работы — чтобы Лемуан убедился в ваших способностях... Он добряк известный, я уверен, что согласится. Вы не возражаете?

— О, мсье Дидро, — прошептала я, — у меня нет слов благодарности...

— Ну, покуда благодарить не за что. Ваша красота, простота и целомудрие растопили мое сердце, а талант, я надеюсь, тронет сердце старины Жан-Батиста.

Рассыпаясь в благодарностях, я откланялась.

Оказавшись на улице, поняла, что в испарине вся. Но теперь у меня была надежда!

Я зашла в храм Святого Бенедикта и молилась там, глядя на распятие Иисуса и скульптуру Пресвятой Богородицы.

Глава вторая

В МАСТЕРСКОЙ ЛЕМУАНА

1

Три оставшихся до обеда дня провела в каком-то лихорадочном состоянии, отбирая лучшие рисунки и обдумывая, что на себя надеть. Есть не хотелось вовсе, лишь заставила себя выпить чай с лимоном и сахаром, подкрепившись багетом с маслом. (При отце такое пиршество нам и не снилось, но теперь я была себе хозяйка.) Навестила Жан-Жака — он, по-видимому, тоже наслаждался свободой от запретов родителя, говорил, что кормят его хорошо, а работа хотя и на ногах целый день, но нетрудная. В общем, я за брата больше не беспокоилась.

Выбор одежды у меня имелся не такой уж большой: в гости я отправилась в темном платье с белым воротником и жабо, на плечах — кружевная накидка, а на голове — небольшой чепец с темной лентой; на ногах — кожаные туфли на не слишком высоком каблуке; вот перчатки под цвет платья и чепца мне пришлось купить; дополняли внешний вид ридикюль и связка рисунков, скрученных в трубочку. Без пятнадцати два я уже была на улице Святого Бенедикта и ходила взад-вперед, коротая время, прежде чем подняться наверх. Наконец, вошла.

Франсуаза встретила меня намного теплее, чем в первый раз, и, приветливо улыбнувшись, провела в гостиную. Там уже сидело несколько господ, все без париков, но с напудренными волосами, в белых чулках и камзолах разных расцветок. Мне, конечно, сделалось страшно в этом высокопоставленном обществе, я почувствовала себя Золушкой, у которой Фея-крестная не успела еще превратить дешевую одежду в бальное платье. Тут на помощь пришла мадам Дидро: ласково представила всем и велела показать принесенные рисунки. Я повиновалась.

Гости стали рассматривать мои художества поначалу скептически, но потом на их лицах скептицизм сменился удивлением, а затем

восхищением. Начали выкрикивать: «Превосходно! Великолепно! Несомненный талант!»

Я краснела, кланялась и пыталась понять, кто из них и есть, собственно, Жан-Батист Лемуан. В этот самый момент появилась Франсуаза и доложила:

— Прибыли мсье Лемуан собственной персоной.

И в гостиную вошел плотный, коренастый господин небольшого роста. Был он в сером парике и высоком шейном платке с дорогой брошью. Рукава его камзола, пояс и ботинки также блестели дорогими камнями. (И не зря, как узнала я позже: он считался придворным скульптором его величества Людовика XV.) Бритое лицо соответствовало возрасту — шестьдесят лет, — всё в каких-то мешочках и складках, синеватые круги под глазами и слегка оттопыренная нижняя губа. Нос мясистый, некрасивый. Но зато лоб высокий — настоящего мудреца, и незлые голубые глаза.

Поприветствовав всех, Лемуан сказал:

— Извините за опоздание, господа, я к вам прямиком из Версаля.

— Как здоровье его величества? — осведомился Дидро.

Скульптор пожал плечами:

— Я надеюсь, что хорошо; но аудиенции не было сегодня; принимала меня маркиза де Помпадур.

И собравшиеся закивали в ответ понимающе.

— Так, боюсь, вы уже голодны, мсье Лемуан? — обратилась к нему мадам Дидро. — Видимо, во дворце вас попотчевали как следует?

Жан-Батист презрительно фыркнул:

— Если бы, мадам! Только чашечка шоколада и бисквит. Я боялся, что урчание моих голодных кишок помешает нашему серьезному разговору.

Гости рассмеялись.

— Так чего мы ждем? Господа, к столу, к столу! — пригласила моя тезка.

Усадила меня от себя по левую руку. Это было почетно, но и напряженно: без конца угощала то одним, то другим блюдом и пеняла, что мало ем. Я действительно, несмотря на долгий пост накануне, не могла проглотить ни кусочка, как бы ни были они ароматны и привлекательны; лишь невесело жевала тарталетки с фуа-гра и пила

холодную воду. Взгляд мой был прикован к скульптору — внутренне восхищалась его непринужденностью, светскими манерами и, конечно, аппетитом: ел он буквально за троих. Наконец, после всех перемен и десерта встали из-за стола. Лемуан с чашкой кофе устроился в кресле, что стояло между двух высоких окон, выходивших на улицу Святого Бенедикта. И мадам Дидро подвела меня к скульптору:

— Дорогой мэтр, разрешите представить вам ту самую девушку, о которой мы говорили накануне. Мадемуазель Колло.

Он взглянул на меня полусонно, как-то мельком. Обронил:

— Принесли свои работы?

— Да, мсье.

— Покажите.

Принялся разглядывать. Все его мешки и мешочки на лице сохраняли полную неподвижность, и понять, что он думает, было невозможно. Вдруг нахмурился и сказал:

— Вы обманываете меня. Это рисовал какой-то зрелый художник. Выдаете чужие произведения за свои. — И с негодованием отшвырнул листы от себя.

Я беззвучно расплакалась, стала нагибаться, собирая разбросанные рисунки, тихо повторяя сквозь слезы:

— Вы несправедливы, мсье... Это я сама, сама...

За меня заступилась мадам Дидро:

— Дорогой мэтр, да побойтесь Бога — девушка и так вся трепещет, ничего не ела за обедом, ожидая вашего вердикта... Я свидетель, что никто за нее не рисует.

Лемуан все еще сердился, широко раздувая ноздри. Глухо произнес:

— Ну, так пусть докажет. Прямо тут и сейчас нарисует мой портрет.

— Вы согласны, Мари-Анн? — обратилась ко мне моя тетка.

— Разумеется, мадам, — отвечала я, вытирая слезы.

Принесли бумагу и грифель. Я уселась на пуфик сбоку от придворного скульптора и внезапно пришла в душевное равновесие — творческий процесс мне придал силы и успокоение. Быстрыми штрихами начала набрасывать основные контуры. Рисовала с воодушевлением и азартом. Лемуан выходил у меня немного

карикатурным, но ведь он и был на самом деле слегка смешон... Сглаживать, приукрашивать не стала. Будь что будет!

Встала, протянула ему готовый картон. Мэтр молчал какое-то время, напряженно сопя. А потом вдруг встал, опустился передо мной на одно колено, взял меня за руку и поцеловал мою кисть. Тихо пробормотал:

— Я прошу у вас прощения, мадемуазель Колло, что задел случайно. Вы действительно великий талант.

А собравшиеся вокруг нас гости стали аплодировать и преувеличенно восхищаться. *Я не* верила своему счастью: снова плакала, но уже не от страха, смешанного с унижением, а от радости. Наконец, сам Дидро сформулировал главный вопрос:

— Значит, вы согласны, уважаемый друг, взять ее к себе в ученицы?

Встав с колена, тот ответил:

— Нет.

Гости в изумлении замерли.

— Как? Но почему? — произнес хозяин дома.

— Потому что мне нечему ее научить. Девушка уже мастер.

Все заулыбались, убедившись, что дело не так уж плохо.

— Ах, не скромничайте, мэтр: молодому таланту есть что перенять у вас, это несомненно. И к тому же нелишне было бы попробовать ее силы в ваянии.

Повернувшись ко мне, несравненный Дидро спросил:

— Вы еще не лепите, мадемуазель Колло?

— Нет, мсье. Никогда не пыталась.

— Ну, вот видите. Женщина-художник — явление редкое, а тем паче женщина-скульптор — просто уникальное!

Помолчав, Лемуан кивнул:

— Так и быть, попробуем. Мадемуазель, приходите завтра ко мне в мастерскую — это улица Сорбонны, рядом с церковью Ришелье. Там каждый знает.

— А к которому часу вы позволите?

— Я обычно начинаю свои занятия в восемь утра. Вот и приходите к восьми.

— Бог ты мой, — удивилась мадам Дидро. — Это ж несусветная рань.

Лемуан даже бровью не повел:

— Тем, кто рано встает, тому Бог дает. На рассвете думается легко. — И взглянул на меня сурово: — Только не опаздывать. Не терплю опозданий, сразу выгоняю.

— Нет, не сомневайтесь, мсье, я приду вовремя.

А сама подумала: «Мне для этого надо выйти в половине седьмого, значит, встать в половине шестого. Как бы не проспять! Надо договориться с мадам Буше». Ею была моя соседка, молочница, и ее мальчики развозили свежее молоко по окрестным домам — с половины пятого утра до шести, и по просьбе жителей выполняли роль живых будильников (ведь часы-будильники были изобретены много позже).

2

Впрочем, будить меня не потребовалось — я почти всю ночь не сомкнула глаз, так переживала, что же ждет меня в мастерской скульптора. Вдруг он мне предложит стать натурщицей — и отец был прав: от позирования в обнаженном виде до постели мастера — один шаг. Правда, у Дидро промелькнула реплика, что почтенный возраст мэтра даст гарантию от поползновений. Но по виду Лемуан — вовсе не старик, и вполне способен теоретически... Ах! Страшно и подумать. Может, не идти вовсе? Нет, нельзя, нельзя: подвести супругов Дидро, так доброжелательно отнесшихся ко мне, и самой оказаться в дураках (а точнее — в дурах); уж пойду, а там видно будет; не понравится — просто убегу.

В половине шестого, получив от мальчика мадам Буше молоко и багет, неожиданно позавтракала с удовольствием, а, позавтракав, сразу успокоилась и повеселела. Привела волосы в порядок, платье и ботинки надела попроще, но, конечно, не слишком затрапезные, и в начале седьмого вышла из дому.

Воздух был чист и свеж, солнце поднималось из-за башенок Нотр-Дам-де-Пари, а кругом уже вовсю копошились работники — открывали ставни магазинов, расставляли стулья уличных кафе, разносили свежие продукты, собирали мусор; за повозками бегали собаки и надеялись, что им что-то перепадет; из ночных заведений,

пошатываясь, выползали полупьяные посетители. Утренняя прохлада наполняла легкие и душу. В самом деле думалось легко. Предвкушала что-то очень важное в жизни — словно бы стояла на пороге грандиозных событий: шаг, другой — и ты уже не такая, как час назад, страхи и сомнения в прошлом, впереди — только счастье и слава. Нет, пожалуй, славы я никогда не жаждала — мне хотелось именно счастья, личного, домашнего, стать счастливой женой и матерью, если получится — и художником тоже, но последнее во вторую очередь. Я по-прежнему относилась к своему творчеству больше как к забаве, а не к смыслу моего пребывания на земле.

В половине восьмого оказалась возле кладбища Монпарнаса и свернула к Люксембургскому саду (от него до Сорбонны — рукой подать). Выйдя к рынку Сен-Мишель, я спросила у молодого человека, по его виду — мастерового, в кожаных штанах и кожаной курточке, а на голове, на давно не стриженных волосах — шапка-колпачок, сумка на плече:

— Извините, мсье, вы случайно не знаете, где здесь мастерская мэтра Лемуана?

Он уставился на меня голубыми телячьими глазами, а потом сказал хрипловатым голосом:

— Знаю, но не случайно, потому что работаю там.

— Неужели? Как мне повезло! Значит, следуем вместе.

Помолчав, он спросил:

— А зачем мадемуазель наша мастерская?

Я ответила с гордостью:

— Мэтр пригласил меня на учебу.

— Правда, что ль? Что же вы умеете?

— Рисовать портреты.

— О-ля-ля, вот не ожидал! Разрешите представиться: ученик и подмастерье мэтра Лемуана — Александр Фонтен.

— Очень приятно. А меня зовут Мари-Анн Колло.

— Вы не родственница знаменитого сапожника Колло, шьющего дамскую обувь?

— Я его дочь, — вздохнула. — К сожалению, мой отец умер два месяца назад.

— Искренне соболезную.

Мальчик мне понравился. Он не задавался и не строил из себя гения-художника, приближенного к мэтру, говорил просто, а порой даже простовато. И, обдумывая ответ, то и дело чесал свой нестриженный затылок. В общем, вахлачок, но забавный.

Я спросила:

— Это правда, что за опоздание Лемуан может выгнать?

Александр подтвердил:

— Запросто. Он вообще суров и не терпит никаких вольностей. Всё должно быть, как им велено. Но когда отдыхает, если выпьет, то совсем другой человек — шутит сам и смеется шуткам других.

— Много у него учеников?

— Ныне вместе со мной четверо. В прошлом же — и не сосчитать, воспитал едва ли не четверть нынешней Академии художеств.

Мы подошли к красивому трехэтажному дому с большими окнами, убранными решеткой.

— Как тюрьма, — сказала я.

— Что с того? — сморщился Фонтен. — А зато надежно. К мэтру раза три залезали грабители, воровали картины из его коллекции и мелкие скульптуры, и пришлось обезопаситься.

Поднялись на второй этаж, позвонили в двери. Лемуан открыл сам и смотрел на нас, уперев руки в боки (был он без парика и, как выяснилось, совершенно лысый):

— Ну-с, явились — не запылились. На часы смотрели? — И постукал пальцем по циферблату своего карманного хронометра. — Две минуты девятого. Две минуты! Черт знает, что такое. Говоришь им, говоришь — как об стенку горох. Обещал выгонять за опоздание — вот и выгоню.

Я пробормотала:

— Ах, мсье Жан-Батист, это все по моей вине — задержала мсье Александра, спрашивая дорогу. Без меня он не опоздал бы.

Но Фонтен опроверг мою версию:

— Нет, мсье, вся вина целиком на мне: начал ей хвалить по дороге вашу милость и настолько разошелся, что забыл про время.

Лемуан проворчал, но уже не так грозно:

— Охламоны. Глупые растяпы. Радуйтесь, что я сегодня добрый. И прощаю на первый раз. Но потом задержитесь снова — точно спущу

с лестницы. Проходите.

В светлой и чистой мастерской там и сям расставлены были статуэтки, статуи, головы, торсы, руки и ступни — что-то из гипса, что-то из глины, что-то из мрамора. За мольбертами два ученика, в целом одетые, как Фонтен, только без шапок и курток, рисовали третьего, полуобнаженного, лишь с набедренной повязкой ниже талии. Все таращились на меня с любопытством. Мэтр сказал:

— Кавалеры, представляю вам новую мою ученицу — Мари-Анн Колло. Будет она трудиться наравне с вами. Но предупреждаю: кто ее пальцем тронет и тем паче — примется строить куры — сразу шею тому сверну, так и знайте. Никаких шашней и амуров у себя в мастерской я не потерплю. Точка. А теперь — работаем, работаем, нечего прохлаждаться.

Я, как все, получила мольберт-подставку и бумагу с грифелем. Несколько минут изучала модель, а потом наметила контуры будущего рисунка. Начала творить не спеша, чтоб не выглядеть самонадеянной дурочкой, и к обеденному времени только успела проработать голову и шею.

Где-то в час пополудни двое слуг внесли в мастерскую стол и накрыли трапезу. Лемуан разрешил нам прерваться и перекусить. С нами не садился и, пока мы ели, медленно прохаживался возле наших мольбертов.

Александр Фонтен спросил, управляясь ложкой:

— Как вам здесь у нас, мадемуазель Мари?

Я ответила, улыбнувшись:

— Да пока еще не пришла в себя, честно говоря. Нужно время, чтобы пообвыкнуться. Если мсье Жан-Батист сразу не прогонит...

Он услышал и отозвался:

— Сразу не прогоню, не переживайте. Для начала очень недурно. Мелкие детали мы обсудим отдельно. А пока продолжайте в том же духе.

— Мерси бьен, мсье, — потупилась я.

Молодые люди посмотрели на меня с уважением, а Фонтен прокомментировал:

— Никого из нас так не поощряли в первый день! Далеко пойдете. Я смутилась еще больше.

Всю вторую половину дня мы заканчивали рисунки, а потом мэтр два часа скрупулезно разбирал каждую работу. Вышли на улицу в половине шестого вечера, еле переставляя ноги. А ведь завтра к восьми утра надо было снова бежать в мастерскую, без опозданий. Голова кружилась.

С Александром шли до Люксембургского сада, а потом расстались — я свернула налево, в сторону улицы Старой голубятни, а Фонтен отправился прямо, к своему городку Гренелль, где он обитал с матерью и двумя сестрами. На прощанье поклонился и сказал, что был рад нашему знакомству. Я сказала, что тоже. Но в душе решила — это просто друг, ничего больше, не герой моего романа.

Дома свалилась на кровать и мгновенно заснула, даже не допив молока, оставшегося от завтрака.

3

Первые полгода постигала азы классического рисунка и лепки. Получалось хорошо не всегда, Лемуан подмечал каждую ошибку и серьезно критиковал, я печалилась, иногда даже плакала, только не при всех, а скрываясь в туалетную комнату. Но успехи тоже были, и от добрых слов наставника мне хотелось прыгать и танцевать, словно маленькой девочке. Александр Фонтен неуклюже пытался за мной ухаживать, но настолько робко, что сердечные наши отношения не продвинулись с первого знакомства ни на шаг (разве только перешли на «ты»).

Брат оставался у мсье Кошона и казался довольным своей участью, я его навещала по воскресеньям, если не было занятий, мы гуляли вместе, пили кофе с пирожными где-нибудь в кондитерской (и, что характерно, угощал он, с гордостью выкладывая заработанные сантимы). Вскоре мсье Кошон приобрел наш домик вместе с мастерской, а на вырученные деньги я сняла себе комнату в Латинском квартале и расплачивалась ими за учебу у Лемуана. Иногда бывала в гостях у четы Дидро. Оба относились ко мне как к дочери, наставляли на путь истинный и нередко баловали милыми подарками. А тем более, что мсье Дени крупно разбогател: состоя в переписке с новой российской императрицей — Екатериной II, — продал ей свою

библиотеку, но с условием, что все книги останутся при нем до конца его жизни и он будет считаться библиотекарем на окладе. Августейшая особа приглашала ученого приехать к ней в гости в Санкт-Петербург. Он благодарил, соглашался, но никак не мог отважиться на такое дальнейшее путешествие, полагая, что не выдержит незнакомой пищи и русских морозов.

Резкий поворот в моей жизни неожиданно случился после Рождества 1762 года, кое мы отпраздновали с братом у меня на квартире, а затем навестили семью Фонтенов, где Жан-Жак моментально влюбился в старшую сестру Александра — Луизу. Но об этом расскажу позже, ибо поворот у меня в судьбе состоял в другом. Александр сказал: «Давеча мсье Лемуан предложил мне пойти в помощники к бывшему своему ученику — скульптору Фальконе. Тот сейчас заведует художественной частью на фарфоровой мануфактуре в Севре — выпускают статуэтки-бисквиты по заказам мадам де Помпадур. И ему требуется подмастерье. А меня, по правде, мануфактура не слишком греет. Хочешь на это место?» Я спросила: «Жить, конечно, в Севре?» — «Да, так что? От Парижа час езды на лошади. А зато не надо платить за жилье — комнату дают за счет заведения. И харчи казенные. Да еще и подзаработать можно». Я задумалась. «А мсье Лемуан согласится меня рекомендовать?» — «Спросим. Как известно, за спрос денег не берут».

Подгадали благодушное настроение мэтра — он как раз угощал учеников по случаю своего дня рождения и прилично выпил, — Александр и забросил удочку насчет Севра и меня. Лемуан только отмахнулся, весело рассмеявшись:

— Мадемуазель Колло? В помощники Фальконе? Вы с ума сошли.

— Отчего же, мсье?

— Ну, во-первых, женщинам запрещено работать на этой мануфактуре. Во-вторых, Фальконе сам женоненавистник и бежит от дам, словно черт от ладана. Ни за что не захочет.

— Он предпочитает мужчин?

— Тьфу на тебя, Фонтен, что за гадости ты несешь! Просто у него была столь сварливая жена, что супруга Сократа, Кстантиппа, образец сварливости, выглядела бы на ее фоне просто ангелом. Фальконе прожил с нею недолго — Бог забрал его мадам при последних

родах, — но она успела отравить сознание бедного Этьена раз и навсегда.

— А ребенок-то выжил?

— Этот — нет. Выжил средний сын, Пьер, лет ему теперь, наверное, двадцать. Учится на живописца, но, по-моему, лучше бы учился на столяра.

— Самому-то Фальконе сколько?

— Где-то под пятьдесят.

Я вздохнула:

— Жаль...

Мэтр улыбнулся:

— Жаль, что под пятьдесят?

— Ах, мсье, вы все шутите, а ведь мне неплохо было бы поработать на фабрике фарфора — деньги за дом с мастерской и отцовский счет в банке тают с угрожающей быстротой. И остаться с братом на бобах не могу, сами понимаете.

Лемуан по-прежнему пребывал в игривом настроении и сказал:

— Путь один — сделать из вас мужчину. Вы согласны?

Александр прыснул:

— Как в комедии Шекспира «Двенадцатая ночь»? Было бы забавно.

Я спросила:

— Что, переодеться мужчиной?

— Да, конечно. Не мужчиной, но мальчиком, отроком, у которого еще усы не растут. Если вас подстричь, облачить в тужурку и штаны попросторнее, исключить высокие нотки в голосе... Вы могли бы сыграть роль подростка!

Стала сомневаться:

— Ну, допустим, в первый момент Фальконе поверил бы, а потом? Скульптор он со стажем, глаз у него наметанный, и разоблачит меня очень быстро.

— Ваша задача, Мари, будет состоять в том, чтоб успеть доказать ему свои способности художника. Вы талант, каких поискать, он оценит это. Оценив же, не захочет вас отпустить от себя.

Совершенно не зная, на что решиться, я стояла в недоумении. Лемуан достал носовой платок, вытер им вспотевшую лысину, а затем

высморкался с такой силой, что заколебались мелкие скульптуры у него в мастерской. И сказал:

— Ладно, бросим это. Я сегодня слишком много выпил, чтобы рассуждать хладнокровно. Завтра же, на свежую голову, мы еще подумаем...

Но и завтра мысль переодеть меня мальчиком не оставила его.

Глава третья

В ДОМЕ ФАЛЬКОНЕ

1

В общем, уговорил. Я решила: «Чем черт не шутит, почему не попробовать? Не получится — значит, не судьба. И продолжу прежнюю мою жизнь. Ну, а если?» Александр принес из дома старые свои вещи — не плохие, а просто из которых он вырос, — и меня облачили в белую мужскую сорочку, панталоны и курточку. Волосы пришлось подстричь коротко, но не слишком, уши оставались закрытыми. Ногти тоже укоротили. Посмотревшись в зеркало, я увидела худощавого бледного подростка с тонкой шеей и слегка затравленными глазами. Ухмыльнулась: «Вроде бы похоже.

Но какой-то несчастный вид. Этому цыплаку не в художники идти, а на паперть». — «Вот и хорошо, — сказал Лемуан, — надо ведь разжалобить Фальконе».

Получив от мэтра рекомендательное письмо, я упаковала в тубус несколько приличных своих рисунков, а в коробку из-под шляпы — несколько слепленных мною фигурок и, благословясь, на извозчике отправилась в Севр. Проводив меня до моста через Сену, мой дружище Фонтен сжал напутственно руку, бросил: «С Богом, дорогая Мари». — И сошел с коляски. А минут через двадцать мы уже были около здания фабрики фарфора.

Сообщила привратнику:

— Я Мишель Колло, прибыл к мэтру Фальконе, по договоренности.

Тот кивнул:

— Да, я знаю, он предупредил. Проходите, мсье — на второй этаж, третья комната справа.

Сердце стучало, словно бы молот кузнеца. Ноги почти не слушались. Еле передвигая ступни, поднялась по лестнице. Приоткрыла в дверь.

— Разрешите, мсье?

— Да, прошу, пожалуйста.

В светлом кабинете было множество скульптур и скульптурок, все в галантном стиле, в соответствии со вкусами маркизы де Помпадур — ангелочки, влюбленные парочки, кавалеры с дамами, грациозные котики и лошадки с собачками. Но фарфор только с первым обжигом, называемый посему «бисквитом».

Посреди этого богатства я увидела стройного мужчину средних лет, не высокого, но и не коротышку, в шелковой рубахе апаш, панталонах до колена и чулках с туфлями на мягкой подошве. Волосы, абсолютно не седые еще, коротко подстриженные, падали на широкий лоб. И глаза, глаза! Совершенно пронзительно голубые — я едва не зажмурилась от их света. Яркие губы в полуулыбке...

— Добрый день, мсье Колло. Милости прошу — вот стул. Мэтр Лемуан характеризовал вас как едва ли не лучшего своего ученика. Принесли работы? Ну, давайте посмотрим.

Сев напротив, принялся разглядывать сначала рисунки. С удовольствием прищелкивал языком:

— Очень хорошо... превосходно... лучше не бывает...

Бросил на меня восхищенный взгляд:

— Вы и впрямь талант, мсье Колло. Подтверждаю это со всей очевидностью.

Но скульптурки ему понравились меньше:

— Ничего, ничего... Безусловно, графика ваша превосходит лепку... Просто опыта еще маловато. Быстро наверстаем...

С дрожью в голосе я переспросила:

— Вы произнесли «наверстаем»? Означает ли это, что могу я рассчитывать на вакантное место вашего помощника?

Фальконе улыбнулся. И улыбка его, белозубая, лучезарная, оказалась еще пронзительней взгляда голубых глаз.

— Да, мсье, вы приняты. Можете завтра переезжать в Севр. Знаете финансовые условия?

— Знаю...

Сердце у меня сжалось, и дыхания не хватило; я, не в силах сдерживаться, залилась слезами.

Скульптор всполошился:

— Господи, что с вами? Вам нехорошо? — Он вскочил.

Я же рухнула перед ним на колени и, рыдая в голос, повторяла, как сумасшедшая:

— Извините меня, простите... вы ко мне так добры... не могу платить вам за доброту черной неблагодарностью...

Мэтр взял меня за руки, усадил на стул и сказал успокоительно:

— Перестаньте, ну? Глупость несусветная... Что произошло? В чем неблагодарность?

Продолжая всхлипывать, я произнесла:

— В нашем некрасивом обмане...

— Я не понимаю. Прекратите же плакать наконец! Что вы, как девица? В чем обман?

— В том, — вздохнула я. — Я и есть девица...

Он отпрянул от меня, как ошпаренный. В ужасе спросил:

— Как — девица? Вы — девица?!

— Да, мсье... Мы ведь знали, что вы не возьмете женщину. А без этого места не смогу я сводить концы с концами, средства на исходе... И тогда мсье Лемуан предложил мне переодеться мальчиком...

Фальконе сел на стул, потрясенный до глубины души.

— Господи Иисусе! — вырвалось у него. — Надо же такое придумать! Что это стало с Лемуаном? Старческий маразм? Издевательство просто!

Я едва-едва прошептала:

— Извините нас... не сердитесь, мсье...

Он пришел в себя и нахохлился:

— То есть как это — не сердиться? Нет, я не сержусь — я взбешен! Так меня надуть! Как какого-нибудь ребенка! Убирайтесь прочь, мадемуазель Колло! Или как вас там? Разговор окончен.

Слезы вновь потекли из глаз, я, преодолевая рыдания, начала собирать раскиданные работы.

— Извините, мсье... Но мы правда не хотели вас обидеть...

— А обидели — еще как обидели! Просто растоптали!

— Нет, мсье... не имели дурных намерений... Думали, что если навыки мои подойдут вам, то уже не станете обращать внимание на мой пол...

— Буду, буду, как еще буду!..

— Извините, мсье... И прощайте!.. — Сгорбившись, я пошла к двери.

И услышала вдруг:

— Стойте, погодите... Как вас там?.. Как зовут вас на самом деле?

Я обратила к нему зареванное лицо:

— Мари-Анн Колло.

— «Мари-Анн», — зло передразнил он. — Вот уж догадался Бог мне такое подсунуть... Нет, не Бог, но черт! — и перекрестился. — Стойте. То есть сядьте. Я готов согласиться взять вас в ученики. То есть в ученицы, черт!

Не поверив своим ушам, я воскликнула:

— Правда? Господи! Вы готовы?!

— Сядьте. Да, готов. Но не представляю, как преодолеть кое-какие непреодолимые сложности.

Я уже почти хохотала:

— Сложности? Да какие могут быть сложности, коли вы готовы?

— Дело не во мне, а в уставе мануфактуры. Тут работают исключительно мужчины.

— Знаю, знаю. Но не надо зачислять меня на мануфактуру. Буду вашей помощницей, а вы вправе брать к себе на работу хоть собаку.

Покачав головой, Фальконе помолчал.

— Ну, допустим. А жилье? Будь вы мужчиной, вам бы предоставили койку в дортуаре. Неплохие условия, кстати: по два, по три человека в комнате. А к тому же кошт — трехразовое питание... Но для вас, получается, это невозможно.

— Стану жить в Париже, приезжая в Севр только для службы.

— Долго и накладно. Из Парижа в Севр вы еще найдете извозчика, а из Севра в Париж, да еще поздно вечером, очень проблематично. И к тому же небезопасно. Молодой девушке — на извозчике, ночью... Нет, исключено.

Я опять была готова расплакаться.

— Что же делать, мэтр?

Скульптор размышлял какое-то время.

— Лишь один вариант... — наконец заговорил он. — У меня в квартире есть одна свободная комната — моего сына. Пьер уехал учиться в Лондон — у художника Джошуа Рейнольдса, знаменитого портретиста. Если согласитесь — обещаю не брать с вас денег за постой и питаться вместе, за моим столом. Правда, тогда придется слегка урезать ваше жалованье...

— Это пустяки, — ответила я. — И в иных обстоятельствах предложение ваше было бы пределом мечтаний. Но одно сомнение гложет меня...

— Да? Какое?

— Что потом скажут люди? Девушка поселилась на квартире вдовца, ест за одним столом да еще получает за это деньги... Понимаете?

Он развеселился:

— В самом деле... Что скажут люди?.. Люди скажут, что я женился на вас. Или же сделал содержанкой. Ясное дело, скажут. Ну и пусть. Мне на них наплевать. Обещаю не пытаться вас соблазнить, рук не распускать и вообще блюсти вашу несовершеннолетнюю честь. Уж поверьте. Остальное, что скажут люди, не интересует меня.

Я молчала, переваривая услышанное.

— Ну, так что решаем? — все-таки не выдержал скульптор.

Я подняла на него глаза:

— Можно переехать прямо завтра?

Он расплылся от уха до уха:

— Завтра — хорошо. Завтра будет вовремя.

И, придя уже в совершенно благодушное настроение, проводил меня до дверей.

Ехала в Париж и не знала, радоваться или нет. Получила то, что хотела, с материальной и творческой стороны — лучше некуда, но с житейской, бытовой? Это он сейчас говорит, что готов блюсти мое целомудрие, а потом, потом?

А, к примеру, выпив вина? Он учитель, мэтр и работодатель — отказать нельзя, а иначе выгонит, но и уступить не смогу — без любви. Если полюбив только... Я — его? Старше меня на тридцать лет или даже больше? Исключительно как отца, наставника... Все равно уступить? А случатся дети? Вряд ли он захочет усыновить и воспитывать... Просто катастрофа!

Первым делом я заехала в мастерскую к Лемуану, чтобы рассказать о произошедшем. Слушая меня, он сидел и посмеивался, одобрительно кивая: «Так, так... очень хорошо». А насчет сомнений сказал:

— Выбросьте из головы. Знаю Фальконе много лет. Он порядочный до мозга костей, щепетильный до ужаса и не тронет вас

пальцем без вашего согласия. Уверяю. Можете принять его предложение с легким сердцем.

А зато Александр очень огорчился. Пробурчал:

— Вот я идиот, что своими руками подтолкнул тебя в его сети...

Я возмутилась:

— Ты в своем уме, что еще за сети такие? Как мужчина он мне неинтересен, настоящий старик — тридцать лет разницы! Не придумывай ерунды.

— Все равно, как подумаю, что ты будешь жить под одной крышей с одиноким мужчиной, есть за одним столом, проводить часы в мастерской бок о бок, понимаю, что рано или поздно это с вами произойдет. Я тебя потерял навек...

— Алекс, прекрати! Ты меня не терял и не потеряешь никогда — да, как друга, как товарища, как приятеля. А идти с тобой под венец я и раньше не собиралась. Так что все у нас останется, как и прежде.

Он ворчал:

— Может быть, сегодня не собиралась под венец, а потом бы и передумала...

Я обняла его по-братски, по щеке погладила:

— Хватит, дорогой. Поработаю в Севре годик, там и поглядим. Я человек свободный, не понравится — быстро съеду.

А Фонтен, уткнувшись в мое плечо, произнес:

— Ладно, будь что будет. Знай одно: что бы ни случилось, я останусь навсегда твоим верным другом. Самым преданным, самым бескорыстным...

Я ответила:

— Да, не сомневаюсь. И ценю это очень высоко.

Дома рассчиталась со своей квартирной хозяйкой — та велела заплатить за весь месяц, хоть февраль только начинался, ну да я спорить с ней не стала, каждый защищает свои интересы, и когда она еще найдет мне замену! Собрала вещи, благо собирать мне было недолго. Основная тяжесть — книги и альбомы. Села и задумалась: правильно ли я поступаю? Лемуан говорит, что бояться нечего. Отступать нельзя. Отступлению моему сможет порадоваться только Александр. Остальные же не поймут. Чувствовала, что уже не властна над событиями, совершается нечто, предначертанное судьбой, и осталось только покоряться. Как сказал Фонтен: будь что будет. Мною

правит Фатум. Я — частица его глобального плана, целиком который не познать никому.

Дом, где жил Фальконе, находился неподалеку от фабрики. Даже в дождь перебежать можно и не промокнуть. У него был слуга Филипп — невысокий, симпатичный, улыбчивый, лет примерно сорок, но на вид не дашь больше тридцати. Он готовил хозяину еду, чистил вещи, убирал в комнатах. На досуге, когда Фальконе отсутствовал, человек любил играть на свирельке разные тягучие, грустные мелодии; но при шефе не дудел никогда — то ли стеснялся, то ли боялся нарушить его покой. По утрам Филипп нас будил — ровно в пять часов, и при этом ни разу не проспал сам (как ему это удавалось?).

Первым стучал в комнату Фальконе, говорил: «Мсье Этьен, время подниматься», — а потом ко мне: «Мадемуазель Мари, просыпайтесь, время». И пока мы, каждый у себя, умывались и чистили перышки, жарил яичницу с беконом и заваривал кофе. А потом прислуживал за столом, с нами же не садился — ел отдельно. У него была дама сердца — здесь, в Севре, звали ее Манон, а Филипп к ней ходил по воскресеньям, приодевшись и надраив ботинки до невероятного блеска. Ночевать у нее он не оставался, так как рано утром должен был нас будить и кормить. Помню, Фальконе однажды спросил его: «Хочешь жениться на Манон?» А Филипп, выпучив глаза, произнес удивленно: «Да с чего вы взяли, мсье? Нет, конечно». — «Отчего — “конечно”?» — «Оттого, что она замужем». — «Как замужем?» — ахнул скульптор. «Очень просто, мсье. Муж ее в воскресенье возит господ по Сене на корабле, и в его отсутствие мы встречаемся». — «Ничего себе! — покачал головой хозяин. — Это же безнравственно. Знаешь заповедь Господню: “Не возжелай жены ближнего своего”?» — «Как не знать. Но другая заповедь: “Возлюби ближнего своего как самого себя”. Вот я и возлюбил. Ближнюю свою». Мы смеялись. «Ну, а если муж ее вас застукает?» — продолжал ерничать Фальконе. «Ничего страшного, мсье. Он такой маленький и толстый, что навряд ли мне что-то сделает. И жене ничего не сделает — у нее уж таких, как

я, было много-много, он Манон все прощает». В общем, как говорится, святая простота.

После завтрака мэтр шел на фабрику ровно к шести утра, я же оставалась у него в кабинете, где садилась за очередные фигурки. Он приходил на обед к полудню и смотрел мои творения, иногда хвалил, иногда критиковал и решал, что надо переделать. После обеда засыпал ненадолго и спешил на фабрику к двум часам. Возвращался в шесть (на мануфактуре длился рабочий день двенадцать часов), ужинал, отдыхал, мы играли в карты или в шахматы, обсуждали прочитанные книги. И ложились в девять, каждый в своей комнате. И намека с его стороны на ухаживания за мною никогда не было.

Быстро я привыкла к такой жизни и не тяготилась ничем, лепка все больше и больше увлекала меня, с каждым разом выходило удачнее, и однажды, усадив Филиппа перед собой (он играл на свирельке), за какой-то час-полтора изваяла его голову-портрет в масштабе один к десяти. Не успела спрятать, как явился на обед Фальконе. Увидав слугу из глины, он оцепенел и стоял какое-то время молча. А потом, указав пальцем на скульптуру, с жаром произнес: «Это ты сама?!» Я ответила, усмехнувшись: «Ну а кто, мсье? Сам себя Филипп, что ли, вылепил?» Мэтр сел на стул и провозгласил зачарованно: «Знаешь, кто ты после этого?» — «Кто?» — спросила я. «Гений, настоящий гений». — «Ах, мсье, вы шутите». — «Хорошо, пусть не гений — но талант, истинный талант! Как схватила его характер, точно передала детали! Поразительно!.. Ты должна лепить именно портреты, у тебя несомненная склонность к этому». Встал и обнял меня по-отечески. Я смахнула с глаз слезы счастья.

А какое-то время спустя навестил меня в Севре Александр Фонтен. Посмотрел, как я живу, и остался в целом доволен. И его усадила я тоже попозировать. Получилось забавно и очень похоже. Мой приятель восхищался и просил разрешения показать работу Лемуану. «Нет-нет, что ты, — запретила я, — это ж так, этюд. Если лепить по-настоящему, надо больше времени». Но Фонтен настаивал. И когда Фальконе пришел со смены, поддержал приятеля (с Александром познакомился раньше, у Жана-Батиста): «Пусть покажет. Я и сам хотел отвезти мэтру кое-какие удачные твои работы, но все было недосуг. А Фонтена нам послало Провидение». Вместе

поужинали и упаковали голову в коробку из картона; мой дружок уехал на извозчике.

Вскоре от Лемуана пришло письмо. Вот оно:

«Дорогой Этьен, дружище, под наплывом чувств я не мог не выразить тебе благодарность за поддержку таланта нашей маленькой Мари. Как она выросла под твоим приглядом! Превращается в настоящего мастера. Восхищен ее работой и твоим педагогическим умением — чувствую твою направляющую руку, твой стиль, умноженный на ее непосредственность и душевность. Вы нашли друг друга! Удивительное совпадение взглядов на жизнь и на искусство — оба такие порывистые, вдохновенные! Через сто, двести лет старика Лемуана будут вспоминать только потому, что я смог привить азы мастерства двум великим скульпторам — Фальконе и Колло! И поверь мне, это не пафос, не дежурный елей, я на лесть не способен, ты знаешь. Обнимаю, дружище, а мадемуазель Мари поцелуй от меня в щечку. Ваш Лемуан».

Ознакомившись с этим посланием, мы с мсье Этьеном просияли от счастья. Он велел Филиппу принести бутылку лафита, чтобы выпить за ужином за теперешние и будущие наши с ним удачи.

Приближалось 26 августа 1763 года — день моего 15-летия. Я не думала отмечать его торжественно — только с братом и семейством Фонтенов, с коим мы всю подружились. Но нежданно-негаданно именно на 26 августа получила я приглашение от четы Дидро — отобедать с ними. Сообщалось, что кроме Лемуана и меня будет еще несколько художников, ученых и один дипломат — русский посланник Дмитрий Голицын. Я ужасно разволновалась, думала, что надеть, чем бы стоило обновить гардероб, скромный и без того, и советовалась с мсье Этьентом. Фальконе был немного рассеян и, по-моему, несколько удручен, что его не позвали. Что же удивляться — Лемуан издавна дружил с Дидро, а меня супруги приняли как дочку, с ним же не поддерживали тесных контактов. Я пыталась развеселить шефа, но, по правде говоря, выходило это не слишком удачно.

26 августа прибыла к Лемуану в полдень, а затем на его коляске мы вдвоем отправились к дому Дидро (расстояние было небольшое, но, по мнению придворного скульптора, уважаемым господам не пристало разгуливать по гостям пешими). Как на грех, ось коляски неожиданно лопнула посреди дороги, ожидать ее починки не позволяло время, и вторую часть пути все-таки проделали на своих двоих, чуть не опоздав к намеченному сроку. Гости все уже собрались. Нас радушно встретила сама хозяйка, говорила, что я сильно повзрослела за этот год, превращаясь в грациозную девушку. Я сказала:

— Мерси, мадам. Между прочим, мне сегодня исполнилось пятнадцать.

— Как? — воскликнула она. — У тебя день рождения?

— Совершенно верно, мадам.

— Ах, как жалко, что мы не знали этого заранее. Ну да ничего. — И она, упорхнув к себе в будуар, вскоре возвратилась с небольшой бархатной коробочкой. — На, держи, дорогая, и будь счастлива.

Я открыла: это были золотые сережки с бриллиантами.

— Ах, мадам, мне так неудобно... Вроде бы сама напросилась...

Лемуан же проворчал мне в ухо:

— Дурочка, бери и не балабонь, пользуйся моментом.

Мы с мадам Дидро обнялись и поцеловались. А когда она сообщила о моем дне рождения всем гостям, то они тоже начали поздравлять меня дружно.

Русский посланник князь Голицын оказался совсем не старым — около тридцати, худощавый, высокий и с огромным носом, чем напоминал журавля или цаплю. И лицо доброе, мягкая улыбка, а глаза с искоркой. Говорил по-французски с чуть заметным акцентом.

— Мадемуазель Колло, счастлив познакомиться. Видел ваши работы в мастерской мэтра Лемуана — просто восхитительно. Не поверил вначале, что ваяет юная девица. Я хотел бы заказать вам свой портрет.

— О, мсье, вы меня смущаете. Я еще никогда не лепила на заказ.

— Что же, как говорят русские, лиха беда начало. После обеда мы договоримся о времени и месте. И о сумме гонорара.

Я совсем растерялась:

— Что вы, что вы, мсье... Ваш заказ — это честь для меня, и готова сделать бесплатно.

— Нет, и слушать не желаю. Каждый труд должен быть оплачен.

Сели за стол. От волнений и переживаний плохо помню, что нам подавали; перемен было много — пять или шесть, не считая десерта; Лемуан, сидевший рядом со мной, все уписывал с аппетитом и урчал от наслаждения, словно жирный кот. Мне особенно понравилась утиная грудка в апельсиновом соусе, а на сладкое — запеченные яблоки с миндалем. Слушая вполуха светские беседы, вдруг отметила слово «памятник» в речи Дидро и сосредоточилась. Он сказал:

— Князь, ваша новая императрица, Екатерина Алексеевна, с которой я состою в переписке с тех еще времен, как она была великой княгиней, сообщила мне, что желает воздвигнуть в Санкт-Петербурге памятник Петру Первому. И хотела бы знать мое мнение, кто бы мог сей проект исполнить. Знаете об этом?

Князь Голицын кивнул:

— Да, имею соответствующее веление. Даже успел переговорить кое с кем из парижских ваятелей. Но они запросили несусветные суммы — первый четыреста, а второй — пятьсот тысяч ливров. Это чересчур.

В разговор вступила мадам Дидро:

— А что скажет мэтр Лемуан? Вы взялись бы за памятник Петру в Петербурге?

Скульптор чуть не поперхнулся от неожиданности, так как в этот момент уплетал за обе щеки шоколадный торт.

— Я? В Петербурге? — удивился он. — Да ни Боже мой! Мне на старости лет не хватало подцепить пневмонию или плеврит российской зимой.

— Нет, а в самом деле? — оживился посланник. — Почему бы вам не подумать над нашим предложением? Все условия создадим на высшем уровне, стол, карета, материалы — за счет казны. Вы бы согласились на триста тысяч ливров?

Но мсье Жан-Батист, вытирая рот, замахал салфеткой:

— Нет, нет, ни в коем случае. Дело не в деньгах. Я действительно слишком стар для этой авантюры. Мне уже скоро шестьдесят. А поехать в Петербург надо лет на пять-шесть как минимум: на проект уйдет года два-три, плюс расчеты по установке на выделенном месте,

плюс отливка и обработка... Протяну ли я столько времени, хватит ли энергии? Нет. Боюсь загадывать. Подыщите кого-то более молодого. — Сделав паузу, бросил: — Например, Фальконе.

Услыхав имя моего шефа, я невольно вздрогнула. Фальконе — в Петербург? Если согласится, значит, он уедет от меня лет на пять-шесть, как считает Лемуан. Или даже больше... Что же сделается со мною? Мне тогда исполнится двадцать, а ему пятьдесят. Может, встретившись, не узнаем друг друга...

— Фальконе — неплохая кандидатура, — отозвался Дидро. — Все его работы очень экспрессивны, эмоциональны. И его темперамент мог бы верно отразить темперамент неистового царя Петра.

Многие гости согласились. А Голицын ответил:

— Надо будет подумать... Познакомиться с ним, переговорить... Мадемуазель Колло, вы ведь служите у него на мануфактуре в Севре?

— Да, мсье.

— Не могли бы вы передать ему наши рассуждения? Что он скажет?

— Непременно передам, ваше сиятельство.

— И отдельно мы ему напишем — мэтр Лемуан и я.

— Хорошо, мсье.

— Значит, договорились.

В половине шестого вечера гости начали расходиться. Мы с Лемуаном тоже откланялись. А прощаясь с нами, Дмитрий Голицын произнес:

— Вы не думайте, мадемуазель Колло, о своем заказе моего портрета я не забыл. Мы вернемся к этой идее в ходе наших переговоров с Фальконе.

Я присела в книксене.

Первая реакция моего шефа тоже оказалась негативной. Он сказал:

— В Петербург? Да ни за какие коврижки. Климат в России вообще ужасный — летом очень жарко, а зимой страшные морозы. Петербург же сам стоит на болоте, так что там еще хуже. Население

дикое. Представляете — моются в купальне все вместе, женщины и мужчины! Да и церковь у них другая. Тоже христианская, но богослужение греческое, папе не подчиняются. Нет, нет, слушать не желаю — добровольно обречь себя на такую каторгу!

У него вообще был взрывной характер — мог сначала вспыхнуть, как порох, и наговорить дерзостей, а потом быстро успокоиться и просить прощения за резкость. Так и тут: по прошествии суток говорил несколько иначе:

— Но с другой стороны, деньги нам не помешают. Я бы согласился на двести тысяч. За такую сумму можно и потерпеть пару лет в экстремальных условиях. Нет, Россия, конечно, дикая, но дворяне все говорят по-французски, так что языковых барьеров не будет. И Екатерина Вторая — по происхождению немка, значит, европейского человека всегда поймет. Переписывается с Дидро и Вольтером... Словом, «за» и «против» примерно равны. Дать согласие — вроде слишком смело, но и отказать — тоже вроде жалко... Впрочем, все мои рассуждения преждевременны: ведь ни Лемуан, ни Голицын никаких официальных предложений мне пока не делали. Не исключено, что нашли другую кандидатуру. Может быть, и к лучшему.

Но письмо князь все-таки прислал — он просил о встрече для серьезного разговора. Фальконе ответил, что в гостях у Лемуана будет спустя неделю, и могли бы там увидаться. Так и договорились.

Между тем я заметила у него на столе в кабинете книги о России. И об императоре Петре Первом. Я, в отсутствие хозяина, полистала тоже. Долго всматривалась в портрет царя. Личность, конечно, необычайно интересная. Превратил патриархальную Русь в европейскую державу. Был, с одной стороны, прост и демократичен, сам работал на верфи, удалял подчиненным больные зубы, а с другой — вздорен и жесток, лично рубил головы врагам. Даже, писали, что страдал припадками. Как передать в скульптуре этот противоречивый характер? И величие, и твердость, европейскость и русскость? Я не представляла.

После встречи с князем Голицыным Фальконе вернулся взбудораженный, оживленный. Нервно ходил по кабинету и рассуждал:

— Окончательного ответа я пока не дал, но его слова сильно меня подвигли к тому, чтобы согласиться... Он так мил и так убедителен!

Воодушевленно описывал свою страну, молодую императрицу и ее планы. Говорил, будто в окружении самодержицы много иностранцев, но на ключевых постах только русские. Думают в ближайшее время разработать некое Уложение как подобие Конституции. Представляешь? Франция — абсолютная монархия, а Россия может стать конституционной, как Англия! Вот вам и «отсталость»!

Протянул мне книгу, подаренную посланником:

— Он презентовал мне альбом с гравюрами видов Петербурга. Посмотри, посмотри. Да, красиво? Европейский город — строили в основном итальянцы, но французы тоже были. Думаю, что в такой ландшафт монумент Петру хорошо впишется — есть пространство, есть воздух, перспектива...

Я спросила:

— Вы уже представляете его, будущий памятник?

Усмехнулся:

— Нет, не слишком. Знаю главное: Петр должен быть в порыве, в движении, устремленности в будущее, в некоем прыжке, что ли, из патриархального в современное...

— Конный?

— Да! Конь горячий, всадник неистовый — оба мчатся сломя голову.

— Грандиозно.

Улыбаясь, помотал головой:

— Погоди, не спеши, это пока фантазии. Если дам согласие, князь напишет императрице, и пока она соблаговолит дать ответ... выразит одобрение или нет... много времени уйдет. А потом составлять контракт, обговаривать разные условия... Словом, если и поеду, то, скорее всего, через год или полтора.

Я сказала:

— Лучше через два.

Удивился:

— Почему через два?

— Мне тогда исполнится семнадцать, и вы сможете взять меня с собой.

Замер посреди кабинета:

— Ты была бы готова мне составить компанию?

— Я была бы счастлива.

Подошел и взял меня за руки:

— О, Мари... Как я не подумал? Мы внесем в контракт отдельное условие, что имею право взять с собой помощников. — Сжал мои ладони. — Разумеется! Я не чувствовал бы себя таким одиноким. Вместе веселее.

Наклонившись, я поцеловала его пальцы. Фальконе напрягся и отступил:

— Полно, полно, голубушка. Только вот без этого. Ты еще слишком маленькая для этого.

Скорчила гримаску:

— Через два года повзрослею.

Он ехидно хмыкнул:

— Через два года и посмотрим.

Вскоре наша жизнь возвратилась на круги своя, но желание поехать в Россию постепенно усиливалось. Масла в огонь подлил Клод Мишель, состоятельный купец, выходец из Руана — он торговал руанским, а теперь и севрским фарфором и открыл в Петербурге крупный магазин, а потом и сам переселился в Северную Пальмиру. Заезжал к нам раз в год обязательно, делая закупки и рассказывая о русских. Уговаривал Фальконе подписать контракт с Голицыным, говорил: «Остановитесь у меня в доме. Это самый центр Петербурга, рядом с Невским проспектом. В зале оборудуем вашу мастерскую. Повара у меня отменные, так что кулинарно будете чувствовать себя, словно бы в Париже». Мэтр на словах соглашался, но я видела: все еще колеблется. А в конце 1763 года рассказал, что встречался снова с Голицыным, и посланник сообщил ему приятную весть: в переписке с Екатериной II наш чудаков Дидро рекомендовал выбрать в качестве автора памятника царю именно Фальконе, а она ответила, что всецело полагается на его вкус. Значит, дело решенное, надо только ждать официальных бумаг из Петербурга.

Мсье Этьен сел со мной рядом на диван и непринужденно взял за руку.

— Думаешь, Мари, мы не оскандалимся?

Улыбнулась:

— Нет, конечно. Это Провидение нас ведет за Собой. Чувствуете Его волю?

Он вздохнул тяжело:

— Я не знаю. Но события выстраиваются в некий стройный ряд — ты не веришь, а они складываются... Словно кто-то Высший помогает нам.

— Отчего «кто-то»? Он и есть — Высший, Абсолют. Все уже записано на скрижалях. «Памятник Петру в Петербурге должен изваять Фальконе». Вам с пеленок это предначертано, и судьба ваша только к этому и ведется.

Посмотрел на меня пристально:

— Все записано на скрижалях? Мы не в праве что-то изменить?

— А зачем менять, если это воля Господня?

— Наша встреча с тобой — тоже воля Господня?

— Безусловно. Божья воля на все. Вы поедете в Петербург и возьмете меня с собой. Я вам помогу в чем-то очень важном. Все взаимосвязано.

Отпустив мою руку, он провел ею по своим прикрытым глазам, будто бы стараясь избавиться от какого-то наваждения. Тихо произнес:

— Бог... Судьба... Я страшусь этих громких слов. «Не поминай имя Господа всуе...» Но, наверное, ты права...

Я проговорила:

— Полно сомневаться, мсье. Будем твердыми, чтобы встретить испытания во всеоружии. Как говорится, нас ждут великие дела.

Рассмеявшись, весело ущипнул меня за щечку:

— Ах, ты моя маленькая Пифия!

Я ответила ему в тон:

— Или Кассандра?

— Нет, пророчествам Кассандры никто не верил, что и погубило Троию.

— Хорошо, пусть будет Пифия.

Глава четвертая В ПУТЬ-ДОРОГУ

1

Дело, конечно, двигалось к поездке, только очень медленно. Несколько месяцев ушло на согласование пунктов договора. Князь Голицын предложил Фальконе триста тысяч ливров за все про все, мой же бесребреник мэтр отказался категорически: дескать, это несусветная сумма, он согласен на двести. Нет, вы видели другого такого, прости Господи, болвана? Люди готовы заплатить больше, а ему совестно, видите ли, брать лишнее. Уникум! Впрочем, может быть, именно таким он мне и приглянулся? И другого мужчину я уже полюбить не смогла бы?

Несомненно: я любила Фальконе. Неосознанно вначале, просто потянулась душой, как росток протягивает листья к солнцу, — Фальконе и был этим солнцем, озарившим мою тогда сумрачную жизнь. А потом осознала, что жить без него больше не могу. Понимала: он на мне не женится, побоится разницы лет и вообще не захочет новой семьи после неудачи с первой; понимала, что мои мечты о принце-муже и о выводке детей никогда с ним не сбудутся; но, любя его, именно его, не хотела больше думать о несбыточном. Значит, Бог так решил. Бог определил меня в помощники к великому человеку. И благодаря в том числе и мне он придет к бессмертной славе. И благодаря ему я приду к бессмертной славе тоже.

Наши чувства развивались исподволь, постепенно, как и подготовка к отъезду. Жили себе и жили, вместе работали, летом иногда выезжали на природу. Часто к нам присоединялся Фонтен. Очень он страдал, что уеду я в Петербург и забуду о нем навсегда. Я пыталась его утешить, говоря, что писать стану письма из России регулярно. А мой шеф однажды вдруг сказал: «Слушайте, Александр, а хотите поехать с нами? Я по контракту имею право взять с собой трех помощников. Первым будет Мари, а вторым мой слуга Филипп. Вы могли бы стать третьим». Это предложение прозвучало для

Фонтена, словно гром среди ясного неба. Он проговорил: «Я бы с удовольствием, мэтр Фальконе. Но не знаю, как тогда оставить маму с сестрами? Я единственный кормилец в семье. Есть, конечно, папино наследство, мы отщипываем иногда от него кусочки, но стараемся в целом сохранить как запас на черный день». А художник ответил: «Никаких проблем, старина, не вижу: часть своего будущего заработка (и хорошего заработка!), получаемого вами в Петербурге, будете отсылать в Париж. Почта работает неплохо, деньги и письма, как правило, доходят». Мой дружок спросил: «Можно я еще посоветуюсь со своими?» — «Ну, конечно, посоветуйтесь». Поначалу родичи Фонтена страшно перепугались, не хотели отпускать, но потом вмешался мой брат, заявив, что заменит мужчину в их семье, а когда вырастет, непременно женится на Луизе. Все сначала смеялись, а потом понемногу стали привыкать к мысли об отъезде Александра и в конце концов примирились. Он теперь бывал у нас регулярно и с готовностью брался за любую работу.

Между тем Голицын не забыл и обо мне — испросил у Фальконе разрешения посетить мастерскую в Севре, чтобы я смогла приняться за его скульптурный портрет. Он позировать долго не мог, и поэтому я придумала способ, как мне выйти из создавшейся ситуации: где-то за полтора-два часа сделала наброски головы князя в разных ракурсах, а потом, в его отсутствие, уж лепила по памяти. Оказалось, безусловно, похоже. Доброе лицо, милые губы, круглый подбородок. В модном парике. Нос чуть-чуть приуменьшила по сравнению с оригиналом, каюсь. Но иначе получилось бы больно карикатурно. Да, немного польстила. Но ведь это не гипсовая маска, а мое представление, мое видение оригинала. Я его видела таким. Раз я художник, то имею право на собственную трактовку.

Фальконе, оценивая мое произведение, тоже пошутил: «Носик-то подрезала ему и подправила? Ах, чертовка. Ладно, ладно, не критикую. Вышел таким красавчиком. Выразила доброе свое отношение к нему — в благодарность за все, что он делает для нас. Ведь скульптура, картина без отношения художника к натуре мертвы. У тебя он живой. Самое, я считаю, дорогое».

Сам Голицын был весьма удивлен увиденным. Рассмеялся: «Никогда не думал, что я такой симпатяга. Вы волшебница, мадемуазель Мари». И, достав из кармана камзола кожаный мешочек с

деньгами, передал его мне. Я, конечно, вновь начала отказываться, но вельможа и слушать не хотел. Мне пришлось принять. Мы с Филиппом упаковали глиняную голову дипломата, и российский посланник радостный уехал со своим портретом. Только потом я открыла кошелек и пересчитала монеты — там было около полутора тысяч ливров. Целое состояние! Треть пожертвовала брату, треть истратила на обновление моего гардероба, треть отложила себе на дорогу.

В то же время маркиза де Помпадур не хотела отпускать Фальконе с мануфактуры. Говорила, что контракт им подписан до 1765 года и, если мэтр его нарушит, выплатит солидную неустойку. У него таких денег, разумеется, не было. Подключили Голицына и Дидро. И последний пожаловался Екатерине II. Та ответила, что просить маркизу она не станет (не по чину, так сказать), да и королю не напишет (дело это тоже не монаршье), денег на неустойку не даст, потому что готова подождать до 1766 года. Не горит, не к спеху. Пусть Фальконе спокойно заканчивает свои дела на фабрике, грузит вещи на корабль и плывет по морю в Петербург. Ничего иного не оставалось.

Неожиданно летом 1764 года появился Пьер Фальконе — сын моего патрона.

2

Начинающий художник, молодой человек учился в Англии и писал отцу редко, в основном, если нужно было попросить денег. Иногда в разговоре мсье Этьен выражал сожаление, что не мог уделять отпрыску должного внимания в его детстве, и мальчишка вырос невоспитанный, своенравный, дерзкий — весь пошел в мать. А наставник юного дарования — Джошуа Рейнольдс — иногда докладывал родителю в письмах, что сынок злоупотребляет элем и играет в карты по-крупному. В общем, мнение о Пьере у меня сложилось не самое лучшее.

И теперь нагрянул без предупреждения — дверь открылась, и стоит он собственной персоной. Мы с мсье Фальконе в это время обедали. На пороге — худощавый юноша лет 22–23, некрасивый, мало похожий на отца, на щеках болячки, зубы кривоватые, волосы то ли

сальные, то ли давно не мытые. Посмотрел на нас и ехидно так говорит:

— Здравствуй, папа. Что, не ожидал? Извини за внезапность. Так уж получилось. Я потом объясню.

Мой хозяин встал, ласково приобнял наследника, пригласил за стол:

— Ты небось голодный с дороги?

— Да, не откажусь. — И при этом не сводит с меня глаз. — Вы и есть та самая Колло? Мне отец писал, что живете в моей комнате. Или переехали уже к отцу в спальню?

Мэтр возвысил голос:

— Пьер! Как не стыдно пороть такую чушь?

Парень удивился:

— Нет, а что такого? Дело-то житейское. Просто мне хотелось узнать, занята ли моя каморка и считать ли мне мадемуазель Колло своей мачехой.

— Мадемуазель Колло не твоя мачеха, успокойся. Ей всего шестнадцать лет. И живет она в твоей комнате. Но на время твоего пребывания мы ее куда-нибудь переселим.

Я сказала:

— Даже знаю, куда. Мэтр Дидро, впечатленный моим портретом Голицына, пожелал, чтобы я слепила и его. Согласился позировать у себя дома. Был согласен, чтобы я пожила у них, а не ездила каждый день из Севра и обратно.

— Вот и замечательно. Будешь чувствовать себя у четы Дидро в полной безопасности.

Пьер заметил:

— Это я, что ли, представляю опасность?

Мэтр смутился:

— Ты неправильно меня понял.

— Понял, как понял. Да пускай едет, куда хочет, мне до нее и дела нет никакого.

Для начала вместе с Александром Фонтеном я поехала к его матери и сестрам, переночевала у них и послала с другом письмо к Дидро. Мальчик-посыльный наутро привез ответ: и супруга, и сам ученый ждут меня с нетерпением. Все устраивалось как нельзя лучше.

Это была волшебная неделя: спали до семи (целых два часа лишних по сравнению с Севром), не спеша завтракали, и мсье Дени удалялся к себе в кабинет для работы, мы же с мадам Анн занимались чисто женскими делами — составляли меню обеда, изучали модные журналы и перемывали косточки знаменитостям. После обеда и короткого отдыха я сначала делала карандашные наброски, а потом лепила ученого — это составляло около двух часов в день. Вечером гуляли в Люксембургском саду или посещали театр. Сказочная жизнь!

На седьмой день портрет был почти готов. Я не знала, делать ли глаза энциклопедиста чуть косящими, как в жизни, или пренебречь реализмом, по примеру носа Голицына, и советовалась с мадам. Та сказала: надо соблюсти золотую середину — левый глаз капельку сместить, чтобы издали этого не было заметно, а вблизи внимательный зритель мог бы рассмотреть. Так и поступила. Мэтр остался доволен. Главное, ухватила доброе выражение лица, иронично сложенные губы, высоченный лоб, негустые, но красиво лежащие волосы (он парик не носил принципиально). Мы отпраздновали окончание работы небольшим славным ужином, на который пригласили Фальконе-старшего и Лемуана. Оба оценили мое творение высоко, даже чересчур высоко, говоря, что, когда мне исполнится восемнадцать лет, я смогу открыть свою мастерскую. Я благодарила и думала, что имею на мои восемнадцать лет противоположные планы — путешествие в Петербург.

Фальконе сказал, что его Пьер уже вернулся в Лондон, комнатуха сына свободна, я могу возвращаться. Мы с ним и поехали вместе после ужина. Разговор в коляске вначале не клеился, мэтр был задумчив и тих. Наконец сказал:

— Дети, дети... Мы заводим их по глупости и по недомыслию, не задумываясь над тем, сколько сил и средств надо в них вложить. А иначе — вот: вырастает такой оболтус, не способный ни к чему, кроме выпивки, карт и увеселения с женщинами.

— Вы не слишком ли строго судите, мсье? — усомнилась я.

— Нет, нимало. Он сбежал от кредиторов, требовавших денег и грозивших его убить. Ну, убить бы не убили, но помяли бы бока основательно. Мне пришлось снабдить сына крупной суммой. Дай Бог, чтобы расплатился и не делал новых долгов. Но надежда на это небольшая...

— Сколько он еще пробудет в обучении у Рейнольдса?

— Полагаю, что года два-три, не меньше. Как помощником мэтр им в целом доволен — звезд с неба не хватает, но не без таланта. Ах, не знаю, Мари, не знаю. Так, по крайней мере, он пристроен. А вернется опять в Париж и что будет делать? Разбазаривать мои деньги? Грустно очень.

В Севре, дома, разошлись по своим комнатам. После Пьера пахло табаком, алкоголем и мужским потом. Я открыла окно для проветривания и решила пока прилечь на диване в кабинете у шефа. К удивлению, из-под двери кабинета пробивался свет. Заглянула и увидела Фальконе, читающего лежа на диване книгу.

— Вы не спите, мсье?

— Да, не спится. А ты?

— Ни в одном глазу, — соврала я, чтобы не расстраивать его по поводу запахов в комнате сына. — Что читаете?

— О визите Петра Первого в Париж полвека назад. Он тогда встретился с семилетним Людовиком XV и взял его на руки, якобы пошутив при этом: «У меня в руках вся судьба Франции». Но, скорее всего, данные слова — просто исторический анекдот.

— Вы уже делали наброски будущего памятника?

Сел и помолчал. Посмотрел на меня пристально.

— Никому еще не показывал. Ты первая.

Он достал из шкафа картонную коробку и открыл. Там была небольшая скульптурка: всадник на вздыбленном коне. Сделано очень экспрессивно, но в моей голове сразу зароилась тысяча вопросов, от которых я была смятенна.

— Ну, что. скажешь, Мари?

— Потрясающе, мсье, я не ожидала... С точки зрения истинного искусства — великолепно... Но реально ли воплотить сие в натуре? Будет ли скульптура устойчива лишь на задних ногах лошади? Не повалит ли ее первый сильный ветер? И не захотят ли заказчики нечто более солидное, монументальное?

Фальконе покусал нижнюю губу.

— Вероятно, ты во многом права... Надо как следует все обдумать. Ну а в целом, в целом?

Я взяла его руку и поцеловала в ладонь. Он другой ладонью ласково провел по моим волосам. А потом обнял и прижал к себе.

Несколько мгновений мы сидели молча. Наконец мэтр проговорил:

— Ну, ступай к себе... нам еще с тобой рано, понимаешь?

Я заглянула ему в глаза:

— Значит, наступит время, когда?..

Нарочито нахмурился:

— Поживем — увидим. А пока что ступай...

3

Тоже начала интересоваться Россией. Часто заглядывала в газеты, приносимые Фальконе, есть ли новости из Санкт-Петербурга? Как дела у императрицы? Прочитала статью о Григории Орлове, фаворите Екатерины II. Оказалось, что у них имеется общий ребенок, сын. И еще писали, что страной она правит только до совершеннолетия старшего отпрыска — Павла Петровича, а потом должна передать ему престол; но отдаст ли? Многие в этом сомневались, зная властолюбивый характер маменьки.

Говорила об этом с Фальконе. Он сказал:

— Пусть тебя дворцовые интриги мало волнуют: мы не при дворе будем жить, ни во что вмешиваться не станем. Создадим гипсовый проект памятника в натуральную величину, выслушаем пожелания, воплотим и тогда можем быть свободны. Отливать не нам, я литьем заниматься не обучен. Пригласят мастеров — за отдельную плату они выполнят.

— Мы, выходит, даже не останемся на отливку?

— Думаю, что вряд ли. Это тоже не один год — строить печь, трубы, изготавливать форму, отливать, а потом зачищать металл и чеканить. Нет, увольте. Наше дело — творчество, а не ремесло.

Истекал срок его контракта с Севрской мануфактурой, и в конце 1765 года начали собирать вещи. Мэтр решил, что по морю отправит багаж — ящики со скарбом, книгами, скульптурами, а мы сами двинем в экипаже по суше (он боялся путешествий на корабле, качки, шторма, говорил, что его знакомый погиб при пожаре на судне, и тогда скульптор дал себе зарок избегать всяких передвижений по воде). Мы с Фонтеном очень сожалели об этом, нам хотелось поплавать, ощутить

даль морскую, наблюдать за чайками и прочее, но желание патрона было для нас законом.

21 апреля побывали в русской миссии, отмечающей день рождения Екатерины II (Фальконе и я, приглашал сам Голицын). Ей исполнилось 37. Было много диковинных яств — от забавного супа из квашеной капусты и гарнира из отварной репы до медовых коврижек, называемых пряниками. Неужели придется все это есть в Петербурге? Но посланник нас успокоил: в Северной столице России много ресторанов французской и вообще европейской кухни, можно выбрать. Торопил с отъездом, говорил, что ему без конца писал генерал Бецкой — приближенный императрицы, президент Академии художеств — с просьбой ускорить отправку скульптора. «Он педант страшный, — разглагольствовал князь. — Любит составлять планы действий и потом их придерживается неукоснительно. Злить его нельзя, так как вхож к ее величеству и она ему доверяет совершенно, при дворе влияние Бецкого очень велико». — «Генерал — президент Академии художеств?» — удивилась я. «Да, формально генерал, но на деле чрезвычайно светский человек. Со времен Петра заведено — как родится мальчик-дворянин, так его родители записывают в военные. Он растет — и растут его чины, даже если он не служит». — «Вот как интересно!» — «А Бецкой вообще человек особенный. Папенька его, князь Трубецкой, был в плену у шведов и в Стокгольме сошелся с некой баронессой. Появился сын. Князь потом привез его в Россию, записав под своей укороченной фамилией, — и велел законной русской жене относиться к нему как к родному. Тот потом учился в Европах, а когда вернулся домой, старый князь, у которого из законных детей были только дочери, предложил ему сделаться «полностью» Трубецким и наследником. Но Бецкой гордо отказался». — «Вот какой!» — «Но, конечно, из наследства ему много перепало — человек небедный и имеет хороший дом на Дворцовой набережной Невы. Не женат, и никогда не был. Но воспитывает дочку, что прижил от служанки-черкешенки». — «Господи, какие небывалые страсти!» Русский посланник рассмеялся: «Вы еще и не то услышите в Петербурге! В том числе и про Бецкого... Я бы мог тоже рассказать, но остерегусь. Мне мое место дорого». — «Даже так?» — «Как любой двор монарха, петербургский двор не исключение. Много интриг и

хитросплетений... Ну, молчу, молчу. Скоро сами все увидите и услышите...»

Мы слышали даже раньше, чем предполагал князь: от Ивана Дмитриевского, нашего попутчика. Дело в том, что указанный господин (лет ему примерно было 30) подвизался актером в русском императорском театре, был в любимчиках у царицы, и она отправила его на год за границу для ознакомления с театрами Европы. Побывал в Германии, Франции и Англии, а теперь возвращался на родину. И Голицын определил, что Иван Афанасьевич сядет в экипаж с нами. (Ехали мы на казенной карете, предоставленной Русской миссией, в соответствии с договором, заключенным с Фальконе; мест в ней было шесть, и как раз разместились — мэтр, Фонтен, я и Филипп, плюс Дмитриевский со своим слугой Прохором.) Нам актер показался вначале слишком женоподобным — одевался крикливо и слегка манерничал, надевал вызывающе красивый парик и румянил щеки; оказалось, что и в театре он нередко исполнял заглавные женские роли; заподозрив Ивана в протiwоестественных склонностях, мы его сторонились. Но потом от него же узнали, что уже семь лет как находится в браке, и у них с женой пятеро детей; а манерность — это наигрыш, свойственный многим лицедеям. По дороге мы тесно подружились.

Накануне отъезда, 26 августа, отмечали мое 18-летие. Очень скромно, надо сказать: из гостей присутствовали только Фонтен и мой братец. Первый подарил мне флакон дорогих духов, а второй — колечко с аметистом (это мой камень — я же Дева по гороскопу). Фальконе преподнес конвертик с деньгами (он сказал: «Я не знаю, что тебе купить. Я не разбираюсь в дамских вещах. Лучше ты сама себе выберешь, что захочешь», — и довольно равнодушно чмокнул в щечку). А в конверте было 300 ливров. Ни намек, ни слова о том, что теперь я совершеннолетняя и могу стать его женой. Он, по-моему, всячески избегал этой темы, опасаясь неизвестно чего. Мы по-прежнему оставались только друзьями. Я же не теряла надежды: путешествие в Петербург сблизит нас еще больше, и, Бог даст, на берегах Невы мой Этьен позовет меня под венец. Я желала этого всем сердцем.

Отбыли из Парижа 10 сентября 1766 года. Засветло собрались во дворе Русской миссии. Нас приехали проводить супруги Дидро,

Лемуан, двое из троих его учеников, мать и сестры Фонтена и мой брат. Попрощались тепло, выслушали много добрых напутственных слов, а мсье Дени без конца грозился тоже приехать вскоре в Петербург. Обнялись, даже прослезились. Брат просил писать чаще, я ему обещала. Сели в карету и отчалили в половине девятого утра. Солнце было уже высоко, лето еще не кончилось фактически, и карета нагревалась очень сильно, так что нам пришлось открыть все окна. Дмитриевский предложил сыграть в карты. Мы вначале отнекивались, а потом согласились — я и Фонтен. На походном столике расстелили кусок бумаги, где записывались взятки. Резались мы в «Мушку» — легкую и непринужденную, позже превратившуюся в «Рамс». Первым сдавал актер, у него же оказался и туз пик («мушка») с соответствующими полномочиями. Несмотря на это, Дмитриевский оказался в мизере, выиграл Александр. После его второго выигрыша лицедей занервничал, а когда в третьей партии выиграла я, и вообще обвинил нас в жульничестве. Мы обиделись и сказали, что играть отказываемся. Дулись друг на друга вплоть до Амьена, где карета сделала остановку, чтобы мы смогли пообедать. Солнце припекало неистово, так что мужчины искупались в Сомме — Дмитриевский, Фальконе и Фонтен. Посвежевшие, ели с аппетитом. Постепенно разговорились. Мэтр спросил у актера:

— Это правда, будто генерал Бецкой очень своенравен и работать с ним будет сложновато?

— «Сложновато»? — рассмеялся Иван Афанасьевич. — Он все соки выпьет, мозг иссушит и душу вытрясет. Ну, да не страшитесь, дочка вас в обиду не даст.

— Дочка? — удивился ваятель. — А при чем тут его дочка?

— Я имею в виду матушку-императрицу.

— Ничего не понимаю. Объясните, пожалуйста.

Улыбнувшись загадочно, лицедей ответил:

— Только между нами, энтр-ну. Все об этом знают, но беседы на данную тему могут быть чреваты... Объясняю. Генерал Бецкой — ну, тогда еще не генерал, а просто шевалье, — в молодости путешествовал по Европе. И в Париже коротко сошелся с некоей немецкой герцогиней Ангальт-Цербской, прожигавшей жизнь без мужа во французской столице. И она понесла... Родилась дочь София Августа... ставшая впоследствии российской царицей...

Фальконе ахнул:

— Так Бецкой — отец?..

— Тс-с, мсье Этьен, не так громко. Вы, когда увидите их рядом, сможете как скульптор оценить сходство.

— Вы меня потрясли, мсье Жан.

— Хотя об этом, как я сказал, все наслышаны, но официально никаких признаний не сделано. И поэтому будьте осторожны.

— Хорошо, что предупредили, спасибо.

К вечеру мы достигли Брюсселя, где и заночевали.

4

Здесь оказалось не так жарко — видимо, близкое море остужало солнечные лучи. А в немецких землях вскоре и вовсе пахнуло осенью — облака, ветер, дождик. «Что-то будет в России?» — думали мы с тревогой.

Дмитриевский часто веселил нас, в одиночку разыгрывая злободневные сценки и к тому же рассказывал массу анекдотов, многие из которых мы знали и раньше. Иногда выглядел назойливым. Прохор, в противоположность, не сказал за время поездки и трех слов; мы вначале приняли его за немного и ошиблись: где-то посреди Пруссии он с хозяином выпил шнапса, и они на два голоса пели русские жалостливые песни. Мы с Фальконе много рисовали — вместо походных заметок делали походные зарисовки, а Фонтен и Филипп заботились о нас. Как-то я спросила Филиппа, станет ли он поддерживать переписку со своей возлюбленной в Севре; он устался на меня, как на ненормальную, а потом презрительно выпятил нижнюю губу: «Для чего писать?» — «Для чего пишут письма? Потому что думают друг о друге и хотят знать об их жизни». Но слуга только отмахнулся: «Это ни к чему. У нее муж и дети. Пошалили — и хватит. Бог даст, в Петербурге тоже отыщу себе даму, обделенную ласками мужчины. Мир не без добрых людей». Хорошо жить с такой философией! В доказательство этому беззаботный Филипп иногда играл на своей свирельке.

Кёнигсберг встретил нас и вовсе прохладой — начался октябрь, нам пришлось облачиться в теплые чулки и фуфайки. По приезде к

вечеру прогулялись берегом реки и столкнулись с маленьким, чуть ли не карликового роста, господином в парике и с тростью. Он приветственно приподнял треуголку, поклонившись и слегка скривив рот; торопливой походкой двинулся дальше. «Знаете, кто это?» — ухмыльнулся Дмитриевский. «Нет, а кто?» — спросил Фальконе. «Знаменитый философ Иммануил Кант. Слышали о таком?» Мы не слышали, но про случай этот запомнили. И потом не раз хвастались в разговоре: «В Кёнигсберге мы встречались с самим Кантом...», вызывая в собеседниках уважение и живой интерес.

На границе пруссаки долго изучали наши подорожные и осматривали багаж. Дмитриевского заставили заплатить пошлину за картины, которые он вез; лицедей говорил, что уже платил французам при выезде из Франции и показывал таможенные бумаги, но пруссаки стояли на своем и грозили отобрать ценности либо не пустить артиста на родину, и ему пришлось раскошелиться. Наконец проехали. Быстро пересекли княжество Литовское, где никто нам не чинил никаких препятствий, и заночевали в Митаве — это было уже Княжество Курляндское. По-французски здесь говорили плохо, в основном по-немецки, и посредником нашим выступал Дмитриевский. Он на деле оказался очень образованным и начитанным человеком, знал восемь языков и красиво пел. Наше первое впечатление о нем как о попугае и фанфароне окончательно развеялось.

Морозящий дождь шел безостановочно, было холодно и промозгло. Александр подцепил насморк, без конца чихал и не отрывал от лица носовой платок — мы с Филиппом его лечили, но довольно безрезультатно, и решающую роль тут сыграла хозяйка постоялого двора, где мы останавливались: принесла банку с барсучьим жиром и велела растирать больного на ночь; и действительно — сильно пропотев, он поднялся утром как новенький.

Выехали после завтрака 9 октября и уже к обеду прибыли на границу с Россией. Русские пограничники отнеслись к нам вначале без особого пиетета, что-то лопотали на своем языке, рассматривая бумаги, но потом пришел офицер и, узнав, что мы едем по приглашению самой государыни, взял во фронт. Сразу все заулыбались, засуетились, начали кланяться и вы-называть всяческие знаки внимания. Чинопочитание здесь вообще очень развито; за глаза

начальство ругают на чем свет стоит, а в глаза поют дифирамбы и готовы облобызать все места.

В шесть часов пополудни въехали в Ригу. Город был чисто европейский, древний, с маленькими узкими улочками и готическими шпилями храмов. На центральной площади, там, где ратуша, гомонил базар. Создавалось впечатление, что из XVIII века провалились в век XVI или даже в XIV, время тут остановилось, и сейчас начнут жечь еретиков на костре.

Постоялый двор оказался недурен, и, когда доложили о нашем прибытии, неожиданно из покоев появился худощавый господин в военном мундире (лет примерно 35), звонко щелкнув каблуками, он представился: капитан де Ласкари, адъютант Бецкого, прислан шефом в Ригу специально для встречи дорогих гостей, а затем для сопровождения в Петербург и устройства на месте. Объяснил: ни императрицы, ни Бецкого в городе нет — все они уехали по делам в Москву и вернутся нескоро, но работа над памятником не должна простаивать, и ему, де Ласкари, дали полномочия всячески содействовать этому, в случае недоразумений и трудностей обращаться письменно непосредственно к генералу.

По манерам и по акценту можно было понять, что встречавший нас не француз, не испанец и не итальянец (несмотря на приставку «де») — может, португалец? Но сомнения наши развеял Дмитриевский: он сказал, что наслышан о Ласкари от вельможи Мелиссино, тоже грека, — оба дальние родичи, выходцы с какого-то острова в Средиземном море, и вельможа пристроил близкого человечка — поначалу в Морском корпусе, а затем адъютантом у Бецкого.

— Симпатичный малый, — бросил Фальконе, — улыбается весело и открыто. Правда, загляделся на нашу крошку Колло, — ну, так что ж такого? Девушка она видная, грех не впечатлиться, а эллины — бабники известные.

Я только посмеялась.

Отдохнули в Риге два дня и две ночи, а 12 октября двинулись дальше. Капитан де Ласкари был не один — с ним еще пятеро кавалеристов, все они сопровождали нашу карету — впереди и сзади по одному и по два справа и слева. Скверная погода заставляла ехать неспешно — грязи было по колено, в ней все время вязли ноги

лошадей и колеса повозки. Еле выбрались мы из этой топи ближе к городу Пскову, где застряли на целый день. Было все в диковинку на Русской земле — бесконечные луковки церквей, много нищих на паперти и улицах, своры бродячих собак и солдаты в будках возле шлагбаумов. А еще — клопы на постоялом дворе: я спала спокойно, а Фонтен с Фальконе оказались в красных пузырях от укусов и полночи не могли прилечь, лишь дремали, сидя на стуле за столом. Дмитриевский сказал, что клопы — бич России, их выводят персидским порошком, но он мало помогает.

— И в самом Петербурге? — спрашивал Фальконе в страхе, то и дело почесываясь.

— В Петербурге меньше. Применяем новое средство — дымовую шашку. Запираем окна и двери, зажигаем шашку и выкуриваем мерзких насекомых в течение часа. Месяц без клопов гарантирован.

Эти перспективы нас не слишком порадовали.

Русская еда отличалась жирностью — на поверхности супа плавали масляные круги, не давая ему остыть, отчего есть было невозможно. А зато пироги с рыбой очень мне понравились и, конечно, с черной смородиной под чаек из самовара — мило и вкусно. А Фонтен пристрастился к местному напитку, называемому квасом, — пил в больших количествах и с большим удовольствием; мне же квас не особенно приглянулся из-за его кислинки, чем напоминал забродивший морс.

Дождик кончился, и вполне благополучно перебрались мы в Новгород Великий. Там переночевали и уже с утра 15 октября подъезжали к Питеру — как все русские называют Петербург. Слава Богу, наше путешествие подходило к концу — без потерь и серьезных хворей.

Глава пятая

ПЕТЕРБУРГ — НАЧАЛО

1

Как и было загодя оговорено, поселились мы у купца Мишеля, в собственном его доме у Зеленого моста через речку Мойку. Рядом, обращенный фасадом на Невский проспект, находился некогда деревянный дворец прежней императрицы — Елизаветы Петровны, но потом он пришел в негодность и его частично разобрали — оставались лишь тронный зал и кухонный блок. Вот как раз в помещении тронного зала, по приказу Бецкого, оборудовали мастерскую для Фальконе. А Мишель для домашней мастерской, в десять раз меньшей, согласился отвести свою залу для балов.

Дом у него был трехэтажный: нижний занимал магазин фарфора, где мы сразу разглядели наши севрские бисквиты, а второй и третий — жилые. Зала-мастерская располагалась в глубине, вдалеке от фасада, с окнами во внутренний садик. Чистый, уютный, милый.

Сам Мишель представлял собой подвижного толстенького мужчину лет 50, сдобного, веселого, говорившего без умолку. Рассыпался перед нами в любезностях. Угощал за столом усердно.

Был он женат на русской — Фекле Ивановне, выше него на целую голову, очень дородной госпоже с громким голосом (им она понукала слуг), — и растили они трех детей: мальчиков и девочку. Старшему — десять лет, младшему — два. Отпрыски говорили по-французски очень плохо, а супруга и вовсе не говорила, но зато Мишель толковал по-русски легко и служил нашим переводчиком.

У меня оказалась славная комнатка окнами во двор, без каких-то излишеств — металлическая кровать, столик, стул, платяной шкафчик, рукомойник и зеркало. На столе — масляная лампа. На кровати почему-то три подушки — в основании крупная, сверху меньше, сверху вовсе небольшая, называемая по-русски «думка». О ее предназначении до сих пор не имею отчетливого понятия.

Отдохнув с дороги, написав в Париж письма, вчетвером (Фальконе, Мишель, Фонтен и я) мы отправились на почту и в пакгаузы, где, по нашему представлению, должен был храниться прибывший по морю багаж. Розыски последнего оказались делом нелегким. Человека, отвечавшего за пакгаузы, отыскать не смогли, и потел за него мелкий клерк — на свою беду, подвернувшийся нам под руку. Он принес какие-то толстые тетради, сшитые веревкой, и водил по записям крючковатым пальцем с не особенно чистым ногтем. Наконец, в третьем grossбухе отыскал необходимую строчку и сказал (в переводе Мишеля): «Груз искомый прибыл две недели назад и находится в пятом хранилище. Только я ключей от него не имею». — «Где ж они?» — домогался Клод. «У Семенова». — «А Семенов где?» — «А Семенов третий день как в запое. И появится не ранее следующего понедельника». Но Мишель был не тот человек, от которого можно просто так избавиться. Он сказал: «Полагается иметь дубликат ключей. Дубликаты где?» — «У Кусякина», — совершенно невозмутимо ответил служащий. «А Кусякин где?» — «На обед уехал. И вернется к трем часам. Если вообще вернется». Неожиданно взорвался Фальконе. Сдвинув брови, сжав кулаки, весь затрясшись, скульптор крикнул: «Клод, скажите этому негодяю, что я прибыл в Россию по указу ее величества! И мой покровитель — генерал Бецкой! И что если в течение получаса мне не выдадут мой багаж, то пойдут под суд, а потом проследуют на каторгу в Сибирь!» Я давно не видела мэтра таким взбешенным. Даже на Мишеля это произвело неизгладимое впечатление, он покорно торопливо перевел всю тираду. Служащий явно покраснел и, пробормотав: «Не извольте беспокоиться, господа, сделаем в лучшем виде», — скрылся в недрах своего пакгауза. Мы подумали, что таким образом он бежал с поля боя, ускользнув от нас через заднее крыльцо, но, по счастью, наши опасения были напрасны: тут же появился тот самый Кусякин, якобы ушедший обедать, разыскал ключи и с подсобными рабочими отправился к пятому складу. Мало этого: появилась подвода, на которую рабочие и Фонтен начали грузить наш багаж. Словом, ярость Фальконе возымела действие. Под конец Мишель наградил Кусякина, служащего и рабочих несколькими монетками, отчего те остались весьма довольны и, благодаря, кланялись. Возвращаясь домой вместе с

багажом, вспоминая эту историю в деталях, мы весьма потешались и хохотали.

Целый вечер потом распаковывали ящики, расставляли скульптуры и развешивали картины в зале у Мишеля, в этой импровизированной мастерской. А Мишель то и дело навещал нас и давал, как ему казалось, дельные советы, чем весьма надоел.

Ужинали при свечах в столовой. Из детей Мишеля были старшие — Франсуа и Симона (в русской интерпретации Федор и Серафима). Мальчик был очень важен, вел себя по-взрослому и почти все время молчал; девочка, более живая (9 лет), часто улыбалась и смотрела на меня с любопытством. Под конец трапезы перешли в гостиную, и отец попросил дочурку что-нибудь исполнить под клавесин (с гордостью заметив: «Сима третий год обучается музыке, делает успехи»). Та не стала жеманничать, села за инструмент и прекрасным, чистым голосом спела что-то по-русски. Нам перевели: «По реке плывет птица гоголь, а по берегу идут молодые парни, а за ними — девушки; парни девушек увлекают своей игрой». Содержание немудреное, но мелодия простая и красивая, нам понравилась, и собравшиеся искренне похлопали Симоне.

Так закончился этот день, впечатлений масса, задремала только под утро. Впереди нас ждали новые сюрпризы и новые потрясения.

2

Вскоре получили письма из Парижа. Самая скверная новость пришла к Фонтену: у него скорострительно умерла мать. И Луиза поведала, что она и сестра Марго были в панике и не знали, что им делать, но пришел на помощь Жан-Жак (мой брат), взявший на себя хлопоты по похоронам и теперь поддерживающий во всем. Он и Луиза обещали друг другу стать мужем и женой через два года (брату было тогда шестнадцать, а Луизе семнадцать), он уже работал приказчиком в магазине у Кошона, получал пристойно и рассчитывал со временем войти в долю с хозяином. Мы с Фонтеном, заработав первое денежное довольствие, переслали Луизе по почте по 250 ливров; я еще послала 200 брату (в месяц у меня выходило 750, у Фонтена чуть меньше, так что нам хватало).

Александр немало переживал из-за смерти матери, долго ходил как в воду опущенный, все у него валилось из рук. Я старалась отвлечь приятеля, тормошила, предлагала пойти прогуляться, посмотреть Петербург. И когда погода благоприятствовала, а насущных дел в мастерской оставалось немного, мы ходили по городу, изучали архитектуру и глазели на русскую жизнь, пробуя читать вывески на кириллице. У меня запоминать русские слова выходило лучше, и уже спустя месяц пребывания в Петербурге я могла поздороваться, поблагодарить и сказать, что хочу приобрести в магазине. Мало этого: подружившись со старшими детьми нашего домовладельца и нарисовав их портреты, а потом вылепив из глины, я договорилась о совместных уроках — мы с Александром упражняли их во французском, а они нас в русском. Было очень весело, эти посиделки чрезвычайно всем нравились.

Между тем Фальконе, при поддержке де Ласкари, полностью оборудовал себе мастерскую в помещении тронного зала бывшего дворца Елизаветы Петровны и всецело отдался работе над проектом памятника. Замысел оставался прежним — император на вздыбленном коне, простирающий правую руку над Россией. Но, в отличие от той скульптурки, что я видела в Париже, появился постамент — камень в виде поднявшейся волны. Он придал коню и всаднику дополнительную экспрессию, подчеркнул устремленность вперед, к светлому будущему страны, о котором так мечтал Петр Великий. Александр спросил мэтра: «Будем обтесывать валун?» — тот задумчиво улыбнулся: «Да, если утвердят общий замысел. Я готовлю эскизы для посылки Бецкому и императрице в Москву». — «А когда они обещают возвратиться в Петербург?» — «Мне никто не говорит, де Ласкари, видимо, сам не знает. Вероятно, не раньше будущего года».

1 декабря Фальконе исполнилось пятьдесят лет. Он, противник всяческих торжеств и помпезности в личной жизни, запретил нам говорить о своем дне рождения кому бы то ни было, от Мишеля и де Ласкари до Дмитриевского и слуг. Но проговорился Филипп, от которого сообщение разнеслось по дому. И Мишель не преминул заказать званый ужин, на который пригласил кучу не знакомых нам людей — в том числе и сотрудников французского посольства в России — скульптора засыпали с ног до головы разными подарками (книги, вазы, дорогие шкатулки и столовое серебро), утомили славословиями и

приветственными стихами. Мэтр после празднества выглядел, как выжатый лимон.

Мы в тот вечер прощались на ночь у дверей его комнаты.

Он сказал печально:

— Видишь, Мари, мне уже полвека. Жизнь почти прожита. А что сделано? Ни семьи, ни дома, ни широкой известности. Все надежды коту под хвост.

Я взяла его за руку.

— Бросьте, мэтр, не хандрите, не впадайте в уныние, ибо это грех. Вы художник, признанный в Европе, а ваш памятник Петру обессмертит ваше имя. Есть у вас сын, значит, будут и внуки, продолжение рода. Есть у вас я, в конце концов, преданная вам всей душой, если захотите — и телом.

Притянув меня к себе, Фальконе уткнулся носом в мой воротник и проговорил со слезой в голосе:

— Обещай, что останешься со мной, что бы ни случилось.

— Обещаю, мэтр.

— Можешь говорить мне «Этьен» и «ты».

— Ах, не смею, мсье. И потом — что подумают о нас окружающие? Александр, например?

Помрачнев, отстранился холодно. Проворчал:

— Значит, все останется так, как есть.

Я воскликнула:

— Господи, вы не так меня поняли! Ты не так меня понял, Этьен. Я люблю тебя. И не брошу никогда, что бы ни случилось, клянусь.

Он кивнул и скрылся у себя в комнате. Я стояла одна в полутемном коридоре и ругала себя за собственную глупость и собственные страхи.

Ближе к Рождеству поступил ответ от Бецкого. Генерал информировал, что эскизы памятника в целом одобрены ее величеством, но царицу смущает главное: почему всадник не похож лицом на Петра и сидит на лошади обнаженный? Если это просто пока натурщик, так сказать, на начальном этапе, ничего страшного, но в дальнейшем Петр должен быть Петром и одет — либо в римскую тогу, либо в русский кафтан. В том же самом письме сообщалось, что Бецкой отдал распоряжение, по которому в рамках Канцелярии от строений и домов ее величества образовано специальное Управление

по созданию монумента. В ведении последнего будет все материальное обеспечение проекта — от поставок камня и глины до снабжения скульптора и его помощников пищей, жильем, каретой и проч. Власти нам благоволили. Фальконе светился от счастья. Он не мог себе представить, что пройдут каких-нибудь два года, и любезный Бецкой превратится в монстра... Но об этом расскажу в свое время.

3

Да, на малой модели памятника Петр еще не был Петром — просто обобщенный образ всадника. Рядом с мастерской возвели из досок специальный помост, отдаленно напоминающий будущий постамент, и натурщики, присланные де Ласкари, офицеры, берейторы, много раз въезжали на него и вздыбливали лошадь. Фальконе же, сидя на высоком стуле, зарисовывал все нюансы. Мы особенно подружились с Афанасием Тележниковым, славным русским кавалеристом, до того блондином, что белесые ресницы и брови были не видны на светлом лице. А коня его звали Бриллиант — ел у нас из рук сахар и морковку, осторожно беря их с ладони теплыми, нежными губами.

Посетил нас вице-президент Академии художеств Петр Чекалевский, рассыпал Фальконе много комплиментов, приглашал в гости. Вскоре мы действительно отправились на Садовую улицу, где располагалось это высшее учебное заведение для художников, скульпторов и архитекторов. Осмотрели классы, познакомились со многими педагогами. Нас принимали как очень дорогих гостей, усадили за стол, накормили обедом, напоили чаем. Между делом Фальконе посетовал, что пока не знает, как лепить голову Петра — сколько ни смотрел живописных портретов, он на всех разный. Чекалевский сказал, что имеется посмертная гипсовая маска императора. Мой патрон аж подпрыгнул: «Неужели?! Можно ли сделать с нее слепок?» — «Никаких проблем, — отвечал вице-президент. — Сделаем и пришлем вашей милости». Мы благодарили как только могли.

А когда уже собирались уходить, к нам подошел застенчивый молодой человек, чуть за двадцать, и спросил меня по-французски,

сильно заикаясь:

— Мадемуазель Колло, вы не помните меня?

Напрягла память, но не вспомнила.

— Мы с вами виделись, мсье?

— Да, пять лет тому назад в Париже, у мэтра Лемуана. Я приехал к нему учиться, вы же вскоре перешли на работу в Севр.

Что-то смутное мелькнуло у меня в голове.

— Стойте, стойте, вас зовут, как какого-то греческого царя...

Гордий, да?

Все кругом рассмеялись. Покраснев, юноша ответил:

— Ну, отчасти. Это моя фамилия — Гордеев, а зовут Федор.

— Вспомнила, действительно. Рада с вами опять увидеться. Как вы поживаете?

— Мерси бьен, не жалуюсь. После Лемуана год еще учился в Италии. А теперь здесь преподаю.

Фальконе сказал:

— Приходите в гости, мы живем в доме у Мишеля, знаете?

— Разумеется, знаю. И спасибо за приглашение. Загляну.

Дома навестила прихворнувшего Александра (он с нами не поехал по причине заболевшего горла и кашля), рассказала ему об этой встрече. Но Фонтен отнесся к упоминанию о Гордееве несколько безразлично. Проворчал:

— Вроде припоминаю... Мышь серая... мало ли кто учился у Лемуана!.. — А потом насупился: — Ты в него влюбилась?

Я скорчила гримасу:

— Ты с ума сошел? Знаешь ведь, кого я люблю. И любить стану до конца дней моих.

Завернувшись в одеяло, мой дружок тяжело вздохнул:

— Блажь твоя мне известна. Только мэтр на тебе никогда не женится.

— Да, и что?

— Ты готова посвятить себя платонической любви?

— Не твое дело. Всякое случается... мэтр тоже не железный.

Александр закашлялся. А потом, отдышавшись, бросил:

— Если вы сойдетесь тут как муж и жена, я уеду из Петербурга в тот же самый час.

— Ладно, не паникуй раньше времени. Будущее покажет.

Наступало Рождество 1766 года.

Мы еще в Париже говорили между собой про рождественские и крещенские морозы в России, но никто толком не представлял, что это такое. Ужас! Катастрофа! Все кругом белое от снега, дворники чистят улицы, но не успевают за непогодой, лед на тротуарах — очень скользко, печки топятся днем и ночью, все равно во многих помещениях холодно, в городе разводят костры, чтобы грелись солдаты в карауле и бездомные нищие. Люди кутаются в шубы, поднимают меховые воротники. Ездят не на колясках, а в санях, укрываясь медвежьими шкурами. Впрочем, было впечатление, что у русских стужа вовсе не вызывает тревог, — более того, многие довольны, говорят: «Настоящая зима!» А в Неве на Крещение прорубают полыньи, и десятки горожан в них ныряют — вроде как крестятся в Иордане. Впечатление для французов жуткое.

Но, конечно, много и веселого. В доме у Мишеля установили елку, и родители с детьми ее украшали разными игрушками и гирляндами. В ночь перед Рождеством под нее сложили подарки (класть их в башмаки и чулки в России не принято). После посещения церкви — праздничное застолье, вперемежку с песнями и танцами (хоровод вокруг елки), поздравления, пожелания счастья. Больше всех выпил Александр, я не видела его никогда прежде сильно запяневшим — он вначале впал в немалое оживление, хохотал, чокался со всеми и лез обниматься, а потом резко погрузился, сел в углу дивана и расплакался, как ребенок. «Что ты, что случилось?» — спрашивала его я. Но Фонтен внятно объяснить не сумел, лишь отдельные фразы передали суть его огорчения: «Мы в чужой стране, и мне одиноко... мама умерла, и никто на свете больше не полюбит меня, как она... лучше в петлю...» Неожиданно голова его упала на грудь, и он захрапел. А проснувшись под утро, ничего не помнил из того, что было вчера, сильно извинялся и обещал, что ни капли больше никогда не выпьет спиртного.

Получили приглашение из французской миссии на прием по случаю Рождества — посетив его, познакомились лично с послом —

маркизом де Боссе-Рокфором, симпатичным толстяком, рассыпавшим комплименты мэтру и бессчетное количество раз уверявшим, что всегда, по любому поводу можем мы к нему обращаться и найти поддержку и понимание.

Побывали в гостях у Дмитриевского, познакомились с его женой и детьми, он читал нам монологи из новой пьесы, где ему досталась главная роль, — мы ничего не поняли по-русски, но звучало красиво. А Гордеев посетил нас накануне Крещения и принес в подарок наши портреты, исполненные собственноручно (масло, холст). Я была не слишком похожа, как мне показалось, впрочем, о себе со стороны судить трудно, а зато Фальконе предстал, как живой. Удивление вызывало то, что ведь мы ему не позировали, он писал по памяти — уникальный талант! Мэтр потащил его в свою мастерскую — показать эскизы будущего памятника. Федор долго молчал, осмысляя увиденное, а потом произнес задумчиво, как всегда, заикаясь:

— Хвост вы удлиняете для устойчивости, понимаю. Снизу, зрительно он не будет выглядеть неестественно большим. Но нужна четвертая точка опоры. Трех опор все же маловато.

Замахав руками, Этьен ответил:

— Да куда уж больше! Дело не в опорах, а в литье: грудь коня должна быть тонкая, легкая, круп намного тяжелее, он придаст устойчивость. И четвертая точка излишня. Да и что этой точкой, по-вашему, может быть?

Молодой ваятель оставался в раздумьях:

— Ну, не знаю, право... Ветви, листья...

— Да какие листья?!

— Барабан, доспехи у ног коня... Или вражеские штандарты? Петр одолел всех врагов, и его лошадь топчет их знамена..

— Нет, уж слишком прямолинейно, — возражал мой патрон.

— Может быть, змея?

— Что? Какая змея?

— Символ недоброжелателей императора — змея. Хочет укусить, но не может, Петр одолел ее, как Георгий Победоносец — змея.

Фальконе запнулся. Посмотрел с интересом. Произнес:

— Да? Змея? Мысль интересная... Но пока не очень представляю, как она может виться у ног, да еще и четвертой точкой служить...

Неожиданно Федор попросил:

— Разрешите испробовать мне? Я уже ее вижу, надо только вылепить... Вы не сомневайтесь: я не претендую на гоно-рар или же на часть вашей будущей славы — просто как совет приятеля... Вы не возражаете?

Мэтр расчувствовался, обнял русского и сказал:

— Никаких возражений, мой добрый друг. Был бы только рад! — И потом они в знак дружбы выпили бутылочку красного вина.

Мало-помалу праздники подходили к концу, а морозы — нет. В мастерской Фальконе (той, большой, в полусгнившем дворце), несмотря на две печки, топимые нашими зрителями, было очень зябко, без перчаток и рукавиц мерзли пальцы, а лепить в рукавицах и перчатках не представлялось возможным. Приходилось неделями бездельничать. А когда из Академии привезли слепок посмертной маски Петра Великого, мы все дружно стали его изучать и зарисовывать.

— А лицо-то небольшое, — говорил Фонтен. — Царь, известно, был высокого роста, а лицо мелкое. Получается — на внушительном теле — мелкая голова.

— Тело не внушительное, — возражал Фальконе. — Да, высок, но не широк, кость некрупная и под стать — голова.

— Но на памятнике он должен быть фигурист, фундаментален, — подсказывала я. — Памятник — аллегория, а не слепок.

— Да, конечно, — соглашался шеф. — Памятник — это символ его личности, необузданности, решительности в действиях. Но портретное сходство тоже должно присутствовать.

— Оживить посмертную маску могут лишь глаза, выражение губ.

— Это самое сложное...

Мы оставили его в одиночестве в малой мастерской (той, что в зале у Мишеля) и не приставали несколько дней. А когда Фальконе разрешил войти и взглянуть, честно говоря, были разочарованы — Петр у него получился слишком высокомерным, чересчур величественным, ледяным, мало обаятельным.

— Ну, что скажете?

Мы молчали растерянно.

Мэтр понял нашу обескураженность и вздохнул:

— Да, я сам вижу, что пока не вышло. Не могу уловить его нерв. Нет в лице живинки.

Я произнесла обнадеживающе:

— Поработаете еще, время позволяет...

— Ах, не знаю, не знаю, Мари, — тяжело вздохнул, — у меня так обычно: если сразу не состоялось, то пиши пропало...

Масло подлил в огонь Мишель. Осмотрев голову Петра, скорчил кислую мину:

— Как-то не похоже, мсье... Это сфинкс, а не Петр. Надо бы свободнее, легче...

Фальконе разозлился:

— Прекратите давать мне советы, мсье. Дело ваше десятое. Мне не интересны ваши суждения.

Клод обиделся:

— И напрасно, мсье. Да, я не художник, тонкостей мастерства не дано мне понять. Но я зритель, зритель! Вы ведь делаете памятник для зрителей, для простых людей, а не для художников. И как зритель я смею рассуждать.

Скульптор проворчал:

— Рассуждать станете, когда я закончу. Как известно, половину работы дуракам не показывают.

— Я дурак, по-вашему? — горько рассмеялся Мишель. — Ну, благодарю, мсье Фальконе, за такую оценку. После всего того, что я для вас сделал... И делаю, — гордо повернулся и вышел.

Отношения с хозяином дома сильно напряглись. Нас не приглашали больше за общий стол.

То и дело заходил де Ласкари. Он, в отличие от Мишеля, в творческие вопросы не лез, но в технические детали вникал и усердно выполнял все, что ни просил Фальконе. В частности, принял самое живое участие в поисках камня для постамента. Мэтр сказал: «Ясно, что найти такой огромный валун не удастся. Да и если найдем — как его доставить в Петербург, на чем? Надо искать валуны поменьше, штук пять-шесть, мы их обтешем, подгоним друг к другу и соединим в единое целое». Де Ласкари, получив «добро» от Бецкого, начал готовить экспедицию по розыску требуемых камней. Во главе

поставил поручика и придал ему двух солдат для охраны, а в саму группу были включены два каменотеса, архитектор и скульптор-резчик. В их задачу входил осмотр близлежащих окрестностей города, берега Ладоги, часть Новгородской губернии и район Выборга — как только потеплеет и сойдет снег.

Потеплело в конце марта. Фальконе смог работать без перчаток и едва продолжил работу, как пришло письмо из Москвы от Бецкого. Генерал рассыпался в похвалах относительно эскизов будущего памятника, говорил о высокой оценке труда ваятеля императрицей и внезапно делал новое предложение — прежде монумента Петру воплотить монумент Екатерине. «Государыня об этом моем проекте не знает, — признавался президент Академии художеств, — и каков же будет сюрприз для нее по возвращении в Петербург! Об оплате не беспокойтесь — все расходы из моих личных средств. Настоятельно прошу не отказываться. Вам, такому мастеру, не составит труда передать образ нашей несравненной государыни». Мэтр сидел взволнованный. Прерывать работу над Петром не хотел и не мог — малая модель у него была почти готова, оставался только вопрос с одеждой всадника, стремянем и седлом... Шутка ли сказать — новый памятник!

Это не один год настойчивого труда. Изучение внешности, поиски образа и пластического решения, а потом — модели, а потом — отливка или обтеска мрамора. С чистого листа? Совершенно заново? Черт знает что такое! Но и пренебречь желанием Бецкого он не мог...

Я сказала:

— Мэтр, не огорчайтесь: поручите Екатерину мне и Фонтену. Вы спокойно трудитесь над Петром, мы же сделаем для вас заготовки ее величества. Так уложимся в сроки.

Фальконе оживился:

— А действительно, почему бы вам не попробовать? Настоящая работа для вас. Вместе доведем до ума.

— Значит, благословляете?

Он, как пастырь, перекрестил нас шутливо:

— С Богом, с Богом, дети мои!

Мы с энтузиазмом взялись за дело. Сразу решили, что царица у нас будет не сидеть в кресле, а стоять — в мантии и короне, в правой руке — скипетр, в левой — свиток с законами. И лицо просветленное,

с доброй, материнской улыбкой. Мать нации. Словно Дева Мария, покровительствующая всем людям.

Александр принялся за фигуру, за одеяние, за расположение рук, я же сконцентрировалась на лице. Изучала портреты императрицы и просила русских, новых своих знакомых, видевших государыню, отыскать мне натурщицу — женщину, похожую на нее. Вскоре мне привели миловидную даму лет тридцати пяти, невысокую, в теле, у которой муж, офицер, сгинул на Прусской войне и которая на пенсию за потерю кормильца поднимала троих детей. Звали ее Анастасия Петровна, и она, мягко улыбнувшись, сообщила, что согласна позировать, если ей потом будут причитаться какие-то деньги. Я пообещала 300 ливров (это на российские деньги около 700 серебряных рублей; на 1 рубль можно было купить, например, гуся или несколько десятков яиц). Офицерская вдова с радостью приняла мои условия.

Наши сеансы длились около недели, за которую мы успели подружиться и перейти на «ты». Настя сносно владела французским и любила поболтать на разные темы — от литературы и музыки до фасонов шляпок и светских сплетен. От нее я впервые услышала имена русских литераторов Сумарокова и Фонвизина и сомнительный слух, что наследник престола — Павел Петрович — вовсе не от супруга Екатерины П, бывшего императора Петра III, а от ее любовника Салтыкова.

Наконец, голова императрицы была вчерне готова. Я не знала, соответствует ли она оригиналу, но на Настю очень походила, вышла и приветливой, и женственной. Увидав скульптурный портрет, Александр одобрил. Он к тому времени заканчивал туловище, и соединить обе части не составило большого труда.

Показали Фальконе. Мэтр обошел модель со всех сторон, изучил вблизи и вдали, сел на стул, задумчивый. Отозвался как-то отстраненно:

— Да, да, пожалуй... Лучшее из того, что можно было придумать...

— Вам понравилось?

— Несомненно.

— Но по вашему тону слышно, что не так, чтобы очень-очень.

— Я не знаю. Я, наверное, сделал бы иначе. Непонятно, как, но иначе. Это *ваша* Екатерина. И она по-своему впечатляет.

— Не хотите приложить к ней руку мастера?

— Нет, ни в коем случае. Сделаю только хуже.

— Значит, оставим так?

— Так оставим, да. Пусть решают Бецкой и сама царица. Я всецело принадлежу Петру.

Мы с Фонтеном остались в недоумении — радоваться нам или огорчаться. Или двигало Фальконе некое ревностное чувство? Трудно теперь сказать. Памятник Екатерине он воспринимал как чужой. Не хотел ни видеть его, ни слышать о нем. Это была угодливая блажь Бецкого. И осталась таковой до конца.

6

А весна в Петербурге разгоралась все ярче, снег сошел в какую-нибудь неделю, словно его и не было, только дворники сметали с тротуаров и набережных грязные разводы. По Неве проносились последние льдины. Люди вылезали из шуб, меховых шапок и саней, запестрели цветастые платья и панталоны, и нередко солнышко весело сияло на синем небе. В мае удивили нас белые ночи — было светло, как днем, спать вовсе не хотелось, а хотелось гулять по городу, проникаясь духом весны, обновления, близкого счастья.

Кстати, о счастье. Отношения мои с Фальконе за зиму 1766/67 годов не продвинулись ни на шаг, никаких объяснений, откровенных сцен не случилось — это были просто учитель и ученица, мэтр и помощница, добрые собеседники, по-приятельски расположенные друг к другу. И не больше. И Фонтен по-прежнему оставался только товарищем. Видимо, русская зима заморозила наши чувства. Уподобившись русским медведям, впали мы в любовную спячку. Но снега сошли, и весна вселила в душу робкую надежду на скорое пробуждение...

Дело шло к концу мая — из Парижа поступили новые письма. Брат писал, что у них тепло, словно летом, настроение превосходное, и они с Луизой готовятся к свадьбе, ими намеченной на конец июля; думают съездить в свадебное путешествие на море, дней на десять

(значит, финансовые дела у Жан-Жака обстояли неплохо, но решила им подарить к бракосочетанию 1000 ливров — начала откладывать). Замечательное послание получил Фальконе от Лемуана: шеф отправлял ему в Париж небольшую копию своего проекта памятника Петру, и наш общий с ним наставник оказался от фигурки в восторге. Он хвалил идею, эмоциональность замысла, новизну исполнения. И советовал не перегружать монумент бытовыми деталями (как то: достоверной одеждой, обувью, седлом, оружием, головным убором) — аллегория пусть останется аллегорией. Это должен быть образ не столько реального царя, сколько мифа о нем. Петр-молния. Петр-апостол. Петр — призрак, скачущий из прошлого в будущее. И тогда скульптура из унылого надгробья превратится в истинное произведение искусства.

Нас впечатлила эта похвала. Неосознанно мы и сами понимали правоту Фальконе, но теперь его задумка обрела словесное подтверждение с точными аргументами. Лемуан подвел под нее теоретическую базу. Что тут говорить — мастер он и есть мастер, видит зорче, глубже всех нас.

Я сказала:

— А давайте столь высокую оценку нашего учителя мы отпразднуем? И вообще — приход весны, пробуждение природы и чувств — это ли не повод выпить хорошего вина и попотчевать себя вкусностями?

Фальконе и Фонтен живо поддержали меня. Мэтр отправил Филиппа в близлежащий трактир, чтобы заказать холодные и горячие закуски, а потом в винный магазин за своим любимым *Saint-Georges-d'Orques*, хоть и дорогим, но зато неповторимо бархатистым и ароматным. Мы с Филиппом накрыли стол в малой мастерской у Мишеля. В Летнем саду играл оркестр, и негромкие, но бравурные его звуки залетали в отворенные окна. Фальконе, подняв свой наполненный бокал, произнес:

— Выпьем же, друзья, за нашу удачу в этой странной, но невообразимо симпатичной России. Петр Первый отражает ее во всем — мощью, энергией, первобытной необузданностью и суровостью, доходящей до жестокости, вместе с тем детской доверчивостью и лиризмом; Петр мудр и странен; он одновременно и ясновидец, и безумец; такова и Россия в моем представлении. Памятник Петру —

это образ России. Взыбленной и неукротимой. Мы должны довести монумент до отливки. А когда его установят в Питере, это будет самый счастливый день в моей жизни. За триумф наш, мои дорогие!

Весело болтали, сидя за столом. Все бы ничего, если бы Фонтена опять под конец вечера не развезло — неожиданно он заплакал, да так горько, словно у него снова кто-то умер. Переполошившись, мэтр и я начали тормошить Александра и выпрашивать, что случилось. Он, размазывая слезы и слюни носовым платком, всхлипывал и стонал, как женщина:

— Я не выдержу больше... силы на исходе... возвращусь во Францию...

— Почему? Почему? — удивлялись мы.

— Потому что замужество Мари я не перенесу.

— Да какое замужество? Ты чего несешь?

— Вижу, как она любит вас, мсье Этьен. И когда вы женитесь на ней, я сойду с ума. Потому что сам ее люблю.

Посмеявшись, Фальконе ответил:

— Дорогой Александр, чтобы вас успокоить, я торжественно обещаю, что, пока мы не завершим всю работу над памятником, я на ней не женюсь.

Сердце мое сжалось, я была готова тоже расплакаться, но потом взяла себя в руки и решила, что в словах шефа нет ничего плохого: он, во-первых, не сказал «нет» вообще — то есть после окончания наших трудов праведных, может быть, и женится; во-вторых, два-три года нам действительно лучше посвятить творчеству, а не прозе семейного быта и, возможно, распашонкам, подгузникам и молочным кашам; в-третьих, если речь идет о женитьбе, это означает венчание, но ведь можно быть близкими, очень близкими людьми без венчания — это грех, но не смертный, если потом последует женитьба. Успокоив себя подобными доводами, я сумела даже улыбнуться и проговорить в пандан учителю:

— В самом деле, Алекс, дорогой, что тебе расстраиваться раньше времени? Мы сюда приехали дело сделать, а не заниматься выяснением личных отношений. Два-три года все останется так, как есть, а потом увидим.

Утерев глаза и вздохнув, наш приятель кивнул:

— Хорошо... вы меня успокоили... я в Париж пока не поеду...

Он готов был уже уснуть и свалиться лицом в тарелку, если бы Фальконе и я не схватили несчастного с двух сторон и не проводили в его комнату. Уложив больного, мы вернулись в малую мастерскую, мэтр закурил трубку (табаком он не увлекался, но порой, после сытного ужина с вином, позволял себе трубочку-другую), я же занялась уборкой грязной посуды со стола (мы слугу отпустили раньше). Глядя на меня сквозь сиреневые клубы дыма, скульптор, улыбаясь, заметил:

— А действительно, Мари, почему бы мне не жениться на тебе?

У меня дрогнула рука, отчего пальцы чуть не выпустили бокал.

— Шутите, мсье? То есть, Этьен... шутишь, да?

— Может, и шучу... или даже нет... Лучшей мне жены все равно не найти. Или я женюсь на тебе, или не женюсь вовсе.

Я повернулась к нему лицом:

— Ну, тогда женись.

У него смешно изогнулась левая бровь.

— Ты согласна, да?

— Ты же знаешь, что я давно согласна.

— Но ведь я поклялся Фонтену, что не сделаю этого вплоть до возведения памятника. Как же быть?

— Отложить венчание на два-три года. А пока быть мужем и женой без венчания.

Удивившись этой простой мысли, он поднялся со стула, отложил трубку, подошел и обнял меня за талию, притянул к себе. Я увидела вблизи его смеющиеся глаза. От дыхания мэтра пахло табаком.

— Значит, любишь меня, Мари? Любишь, правда?

— Больше жизни, Этьен.

— Будешь со мной сегодня?

— И сегодня, и всегда, как захочешь.

— Даже несмотря на то, что я пока не сказал, что люблю тебя?

— Не имеет значения. Ведь моей любви хватит на двоих. Впрочем, я питаю надежду, что и ты меня все-таки немножечко любишь.

Вместо ответа он приник губами к моим губам.

То была наша первая совместная ночь.

Глава шестая

ЕКАТЕРИНА II

1

Ждали ее величество летом 1767 года, но они изволили ехать не в Петербург, а проплыть по Волге от Твери до Симбирска, возвратившись опять в Москву, чтобы завершить дела по созданию Уложения. Между тем у нас в Питере шла работа полным ходом — Федор Гордеев вылепил змею очень ловко: извиваясь между задними копытами лошади, создавала она лишнюю опору. Фальконе завершал малую модель. Он одел Петра и не в русский, и не в европейский, и не в римский наряд, а в какую-то накидку, одновременно напоминавшую и мантию, и плащ, и тогу, посадил не в седло со стремянами, а на шкуру медведя (как известно, символ Руси — медведь) и обул в какие-то непонятные полусапожки, не относящиеся ни к какому времени. Словом, следовал пожеланиям Лемуана.

Отношения его с Клодом Мишелем окончательно испортились, и зашла речь о переезде. Де Ласкари списывался с Бецким, путешествовавшим вместе с царицей, долго они перебирали разные варианты и, наконец, решили, что жилье устроить можно в бывших кухнях все того же Елизаветинского дворца, где располагалась наша большая мастерская. Минус был один (и существенный минус): рядом возводили частный театр, и работы по его строительству были очень шумные, надоедливые; но Этьен рассчитывал убедить Бецкого прекратить стройку и перенести ее в другое место.

Переехали мы в июле 1767 года. Лето в Петербурге было довольно жаркое — не такое, конечно, как в Париже, но при всем при том больше напоминало лето, нежели весну. Мучили комары. Город возведен на болотах, и, хотя топь ушла, комары остались. К счастью, эти твари, как и клопы, не кусали меня совершенно, свойство моего организма — отгонять от себя разную летающую и ползающую нечисть (видимо, я такая же ядовитая, как они?), но зато Фальконе и

особенно Фонтен постоянно ходили в красных пузырях и неистово скреблись, словно у них развилась чесотка.

Новое жилище, разумеется, было не таким комфортным, как покинутый нами особняк купца, — стены и перегородки деревянные, наспех поклеенные обои с безвкусным рисунком, не паркет, а доски, никаких ковров, занавески ситцевые. У меня в комнатке не имелось ни комода, ни шкафа для белья — всю одежду приходилось развешивать на крючки и самой купить небольшое зеркало. Вместо масляных ламп зажигали вечером сальные свечи.

Чистоту и порядок в доме (в мастерской заодно) ревностно поддерживали муж и жена Петровы. Он, отставной поручик, выглядел лет на шестьдесят, весь седой, маленького роста с носом-пупочкой и живыми глазками. И она под стать ему — только круглая, как бочонок, и такая сдобная, словно ситник. Хорошо готовила и без счета угощала нас пирогами и пышками. Оба бездетные, относились к нам породительно, видимо, считая, что французы вообще и в пределах России в частности — точно дети малые и нуждаются в бытовой опеке. Мы же принимали их услуги с благодарностью.

Пил Петров (Алексей Игнатьевич, говоря по-русски) исключительно по праздникам и не напивался, но при этом пускался в пляс; танцы его были очень резвые — с посвистом, притопами и прихлопами, криками «эге-гей!» и в конце с обязательной присядкой; а когда шел в присядку, то подбрасывал ноги высоко и тянул носочек в сапоге; почему он не падал, будучи в подпитии, оставалось загадкой.

В целом жили скромно и мирно. Заходили к Петровым на самовар и пытались вести беседы, но, поскольку он изъяснялся по-французски с трудом, мы же с трудом по-русски, выходило это довольно весело. Алексей Игнатьевич говорил примерно так:

— Сильвупле, пардон, конечно, экскузе-муа, но хотел бы интерессё, мсье Фальконе, пуркуа французы едят лягушек?

Ничего не поняв, Этьен спрашивал меня, что он хочет. Я переводила. Мэтр смеялся и подкалывал его в свою очередь: как можно есть жир свиньи, положенный на ржаной хлеб, да еще заедать им разбавленный спирт, называемый водкой, вместо вина?

Отставной поручик с сожалением смотрел на безмозглого чужестранца и отвечал, что без сала, водки и черного хлеба русский человек жить не может, как без воздуха, и, лиши его этих продуктов,

он либо сразу сдохнет, либо деградирует, став французом, заедающим вино лягушачьими лапками. Я переводила. Фальконе хохотал, и они примирялись, дружно поедая курники и рыбники, испеченные мадам Петровой.

Экспедиция за камнями для пьедестала не дала нужных результатов: обнаружили только два здоровенных валуна возле Ораниенбаума, да и то негодного качества. Де Ласкари рвал и метал, а когда успокоился, быстро сколотил новый рейд в окрестности Кронштадта — там нашли приличную скалу, но не представляли, как ее доставить в Петербург: по земле не дотащишь, а на море перетопит все имеющиеся суда, В этой неопределенности и окончилась осень 1767 года.

Из Парижа получила письмо от брата — бракосочетание совершилось достойно, было 17 человек гостей, в том числе и его хозяин — мсье Кошон, подаривший молодоженам 500 ливров; новобрачные съездили на море, правда, на неделю всего — больше не позволяли средства и дела в магазине, а вернувшись, поселились на съемной квартире неподалеку от работы Жан-Жака. Судя по восторженному тону послания, он был счастлив. Я порадовалась за него искренне. Пусть хоть кто-то в нашей семье обретет домашний покой. Обо мне говорить не приходилось — я была счастлива с Фальконе и несчастна одновременно, потому что, с одной стороны, мы любили друг друга, наслаждались близостью, но с другой — вечно держали свои чувства в тайне, и такая неопределенность ранила мое сердце. Время шло, мой Этьен не молодеел, да и мне пора бы сделаться уже матерью, но условия наши не давали даже мечтать об этом.

Рождество отпраздновали шумно, без конца ходили в гости к новым нашим русским знакомым, многие посещали нас, а в начале января 1768 года де Ласкари принес радостную весть: государыня императрица едет в Петербург.

Слухи ходили самые разные, в частности: длительное отсутствие ее величества в Северной столице было связано не столько с необходимостью выработки Уложения (проще говоря — начатков

русской Конституции), сколько личными ее делами. Первое: бракосочетание с Григорием Орловым, коронация его и провозглашение их сына, Алексея Бобринского, официальным наследником престола (Павел Петрович был нелюбимым детищем Екатерины II, да и слишком слаб здоровьем). И второе: новая беременность царицы. Якобы не хотела в этом положении быть на виду всей аристократии Петербурга и уехала рожать и венчаться в Москву.

Но и то, и другое вышло скверно. На четвертом месяце приключился выкидыш. А ближайшее окружение самодержицы приняло ее желание узаконить отношения с фаворитом в штыки. По столице ходил такой анекдот — якобы министр иностранных дел граф Никита Панин ей сказал: «Можете поступать, как вам заблагорассудится, ваше величество, но, увы, никогда мадам Орлова не будет российской императрицей». И венчание отменили.

Наши домоправители, супруги Петровы, сидя с нами за самоваром и смакуя эти сплетни, рассуждали на свой манер. Я буквально воспроизвести их слова не берусь из-за слабого знания русского языка, но примерно это выглядело так.

— Времена меняются, — говорил Алексей Игнатьевич, схлебывая чай с блюдечка (оба наливали из чашек в блюдца, дули на него и пили, посасывая маленькие кусочки пиленого сахара, — это у русских называется «вприкуску»), — при покойнице-то Елизавете Петровне было просто: захотела — тайно обвенчалась с Разумовским, и никто нишкни. Дочь самого Петра Алексеевича незабвенного! С нею шутки плохи, живо в Сибирь могла отправить несогласных. А царица-матушка Екатерина Алексеевна дама европейская и чувствительная, для нее мнение светского общества, духовенства и особенно военных на первом месте. Жизнь свою приватную подчиняет государственным нуждам. Тут сидишь и думаешь: вроде бы они на вершине славы, абсолютная правительница, и богатства не счесть, а вот счастья домашнего как не было, так и нет. Что тогда с Петрушкой с этим, Третьим, в обычных распрях, что теперича. Да-с, не позавидуешь. То ли дело мы — люди хоть и маленькие, а себе хозяева, любим, кого хотим, и живем припеваючи.

И супруга вторила ему:

— Да зачем она нужна, власть-то эта? Всех богатств да роскоши не возьмешь с собою в могилку. Детям передать? Так они не оценят, разбазарят все. А народ не оценит тож, люди разных новшеств не любят и хотят жить, как жили, по старинке. Ведь народ-то темен. Станешь в него тыкать палкой, он ея у тебя отымет и тебе же даст ею по макушке. Охо-хо! Царь-то — как сосна на юру, одинешенек, все на него глазеют, все судачат, кто завидует — хочет скovyрнуть, чуть как зазевался — и нет тебя. Верно говорит Алексей Игнатьевич, что не позавидуешь. Власти нам не надобно. Нам и так хорошо, были б только денежки на муку да капусту, остальное мы сами сделаем.

Вскоре после приезда царского санного поезда из Москвы появился у нас в остатках дворца Елизаветы суетливый де Ласкари, увиваясь за каким-то сановником в дорогущей шубе и расшитой золотом треуголке, под которой был парик пепельного цвета с косицей, а под шубой — красный мундир генерала с лентой через плечо. Шпага на поясе. А в руке в перчатке — трость с набалдашником в изумрудах и бриллиантах. Весь такой холеный, сияющий драгоценными камнями. Взгляд слегка надменный, высокомерный, и ехидная улыбочка на устах. Но слегка прихрамывал. Де Ласкари вился вокруг него, лебезил и юлил.

— Разрешите представить вам, Иван Иванович, господина Фальконе собственной персоной и его помощников. Господа, генерал-поручик Бецкой, президент Академии художеств, шеф Сухопутного шляхетского корпуса, и прочая, и прочая.

Мы почтительно поклонились, а Бецкой снисходительно кивнул. И сказал на великолепном французском:

— Рад знакомству. Именно таким я и представлял вас, мсье, — истинным художником с горящим взором. Матушка императрица очень высокого мнения о вашем творчестве, и была в восторге от проекта памятника Петру. Я скажу вам честно: мне он не по вкусу. Мы имеем уже одну скульптуру Петра, тоже на коне, выдающегося мастера Растрелли. Император на нем велик и статен, строг и монументален. Как по мне, это то, что нужно. А у вас он в движении, в скачке, в действии. Да, передает характер царя, но снижает пафос. Я пытался донести мое мнение до ее величества, но, увы, остался непонятым. Вашему памятнику быть. Мнение Екатерины Алексеевны — закон. А сумели ли вы, по моей приватной просьбе, изваять саму государыню?

Мэтр поклонился:

— Да, мой генерал, можете взглянуть.

— Очень любопытно.

Мы прошли в мастерскую, где по центру стояла малая модель памятника Петру, а слегка в глубине, в нише — наша с Фонтеном скульптура императрицы. Генерал-поручик бросил беглый взгляд на работу Фальконе и не задержался ни на секунду, явно оставшись безучастным, и стремительно, хоть и хромая, приблизился к государыне. Встал, опершись на свой посох. И смотрел слегка исподлобья, не спеша осознавая увиденное. Наконец, проговорил:

— Замечательно. Просто превосходно. Главное, похоже. Как вы смогли вылепить ее, даже ни разу не увидев оригинал в натуре?

Фальконе пояснил с улыбкой:

— Я скрывать не стану, мсье Бецкой: голову лепила моя помощница — мадемуазель Колло.

Я присела в книксене. Президент Академии художеств вперил в меня свои колючие глазки.

— В самом деле? Да она талант! Впору присвоить ей звание академика!

Опустив глаза долу, я пролепетала:

— Мерси, мсье.

— Нет, определенно, ваше изваяние очень впечатляет. Интересно, что скажет государыня? Я уговорю ее приехать к вам как можно скорее. На «себя», так сказать, посмотреть и на вашего Петра. Как дела с постаментом?

Тут вступил де Ласкари:

— К сожалению, неутешительно. Подходящего камня не нашли. Есть один под Кронштадтом, но проблемы с его транспортировкой. Ждем весны, чторбы продолжать поиски.

— Хорошо, поторопитесь. Мы должны в ближайшее время определиться с камнем и с местом установки. Лицезрение памятника очень зависит от антуража. На широком пространстве он выглядит мощнее.

Наконец, подошел к самому Петру и разглядывал его с некоторой предубежденностью. Бормотал:

— Да, да, сапоги, платье... меч внушительный... и змея? Отчего змея? Что она олицетворяет?

— Недоброжелателей Петровских реформ, мсье. Он их попирает копытами.

— Да, да, возможно. Все зависит от мнения царицы. Если ей понравится, я умою руки, подчинюсь ее воле. Пусть пока останется все как есть.

Отчеканив эти слова, он, прихрамывая, но с такой же стремительностью вышел из мастерской, де Ласкари поспевал за ним еле-еле.

Проводив Бецкого, мы обменялись впечатлениями. Фальконе сказал:

— Странно, что такой ограниченный человек возглавляет Академию художеств. Он, по-моему, разбирается в искусстве, как свинья в апельсинах.

Я воскликнула:

— Будет вам, мсье! Он по-своему мил, мне кажется.

— Ну, конечно: вас похвалил и не прочь присвоить вам звание академика.

— Видимо, и вам тоже.

— Не уверен.

А Фонтен заметил:

— Мы с ним еще наплачемся, вот увидите.

— Ты считаешь?

— У него взгляд недобрый. Неуверенного в себе человека, всеми силами стремящегося это не показать.

— Браво, браво, — похвалил мэтр. — Вы настоящий физиономист.

— Интересно, он действительно отец Екатерины?

— Кто знает! Но его особое место возле императрицы, привилегии, должности, влияние и награды могут навести на определенные мысли...

— Надо с ним держаться с опаской.

— Я давно это осознал.

А ее величество долго не приезжали. Чтобы не терять времени, де Ласкари и Фальконе занялись изучением мест в Петербурге, где хотелось бы поставить памятник Петру — ездили, смотрели, обсуждали. К ним присоединился Юрий Фельтен — зодчий, ученик Растрелли, непосредственный подчиненный Бецкого. Это был по виду

типичный немецкий бюргер — пухлый, коротконогий, с полными ляжками и икрами в чулках, неестественно красным румянцем во всю щеку и немного сонными серыми глазами; но живой ум архитектора проявлялся с первых фраз его речи, говорил он весело, иронично и образно, не боялся прохаживаться по слабостям самого Бецкого и Екатерины, чем весьма подкупал. Рассмотрев предложения мэтра и де Ласкари, сразу сделал выбор в пользу Сенатской площади — здесь хорошее открытое пространство и прекрасный вид со стороны Невы и Большого Исаакиевского моста, Петр на коне будет хорошо смотреться снизу вверх, на фоне неба. Доложили Бецкому. Тот неожиданно заартачился, начал говорить какую-то чушь — дескать, взгляд Петра не должен быть устремлен невесть куца, надо сделать так, чтобы он одним глазом смотрел на Адмиралтейство, а другим — на двенадцать коллегий, — мы не знали, плакать от таких заявлений или смеяться. Место установки памятника было решено отложить до совета с императрицей.

Наконец-то она соблаговолила приехать — это было 12 апреля 1768 года, — заглянула в нашу обитель по дороге в Царское Село.

3

Накануне примчался курьер от Бецкого с вестью о визите и с приказом все вычистить, выскоблить, вымыть к приезду ее величества. Вскоре появилась рота солдат в качестве помощников для уборки. Домоправитель Петров, отставной поручик, сразу почувствовал себя в своей стихии, принявшись командовать, и довольно толково, так что к вечеру бывший дворец Елизаветы Петровны и в жилой его части, и в части мастерской заблестел первозданной белизной. Посетивший нас де Ласкари похвалил и одобрил. И велел быть готовыми к приему в шесть утра. Разумеется, Екатерина II так рано не приедет, но на всякий случай нужно находиться во всеоружии. Мы легли в десять, и Филипп нас перебудил в начале пятого. Ровно в шесть все приготовления были закончены, и у нас начался период беспокойного томительного ожидания.

Государыня не появилась ни в шесть, ни в семь, ни в восемь — только в половине девятого начал нарастать на брусчатке Невского

проспекта цокот бесчисленных копыт; первыми возникли гвардейцы, проскакавшие в голове кортежа, а потом потянулись шикарные кареты царского поезда. Самодержица ехала во второй. Перед ней быстро раскатали красную ковровую дорожку, и Григорий Орлов, спешившись (ехал он верхом), подал царице руку, помогая сойти по ступенькам. Посмотрев на нее, я невольно вздрогнула: мне почудилось, что идет моя натурщица — Анастасия Петровна, только переодетая в дорогушее платье. Сходство было поразительным! Правда, при ближайшем рассмотрении государыня показалась мне меньше ростом, с более пухлыми щеками и намного более умными глазами. Говорила она мягко, чуть воркуя, и с едва заметным немецким акцентом — «р» произносила не в нос, как французы, а гортанно.

Рядом с ней шел Бецкой и другие вельможи, фрейлины. Он представил императрице Фальконе, и Екатерина сказала по-французски:

— Спасибо, мсье, что вы удостоили нас чести своим приездом. Гениальный Петр должен быть увековечен только гениальным скульптором. Увидав эскизы, мы уверились в вашей гениальности и в правильности нашего выбора.

Мэтр поклонился:

— Благодарен за столь высокую оценку скромных моих способностей. Буду рад представить вашему величеству малую модель монумента.

— Что ж, пойдемте, пойдемте, — согласилась она.

В мастерской обошла скульптуру со всех сторон, ничего не произнося. Но зато Бецкой то и дело отвлекал ее от осмотра.

— Вам не кажется, ваше величество, что змея ни к чему? Странно, что нет седла. Царь — и без седла! Это принижает его образ. Отчего хвост коня такой длинный? *Я не видел в натуре таких лошадей.* И лицо Петра какое-то неживое. Не внушает благоговения. — И так далее.

Наконец, она остановилась с той стороны, где Петр простирал свою длань, и с улыбкой обернулась к Фальконе. Протянула ему руку.

— Вы меня по-хорошему удивили, мэтр. Все великолепно. Памятник у Растрелли не волнует. Он во многом повторяет известные образцы — изваяние Марка Аврелия, например. Нет, Растрелли, конечно, мастер, ничего не хочу сказать, но его Петр скучен. А ваш! А

ваш! Это просто чудо какое-то. Ни в одной из столиц Европы нет ничего подобного.

Наклонившись к руке императрицы, Фальконе прикоснулся губами к ее перчатке.

А Бецкой, судя по всему, не хотел сдаваться. Продолжал бубнить:

— Нет, а хвост? А змея? А отсутствие седла? Нешто вам по вкусу?

Бросив на него ироничный взгляд, самодержица рассмеялась:

— Ах, Иван Иванович, будет вам петушиться! Что вы придираетесь, толком не разобравшись? Хвост и змея служат для опоры вздыбленного коня, это же понятно. И седло не нужно — шкура медведя и змея — суть предметы аллегорические, неужели не ясно? Но в одном вы правы, друг Бецкой: мне лицо царя не понравилось тоже. Вся скульптура — натиск, мощь, движение, а лицо статично. Нет какого-то озарения и огня во взгляде. Надо доработать.

Фальконе молча поклонился. У Бецкого же словесное извержение продолжалось; вынужденный смириться с августейшей оценкой малой модели памятника Петру, он решил взять реванш скульптурой императрицы.

— А еще хотел бы рекомендовать вашему величеству посмотреть новую работу нашего мэтра. Вот взгляните, сделайте милость. Узнаёте оригинал?

Подойдя поближе, государыня замерла на какое-то мгновение, а потом расхохоталась.

— Это я? Господи помилуй! Вот не ожидала. Да еще характер верно схвачен. Как же вы смогли, не увидев меня ни разу?

Фальконе снова поклонился.

— Я уже отвечал на подобное удивление генерала Бецкого. И признался, что портрет вашего величества вылеплен не мною, но моей помощницей — мадемуазель Колло.

— Вот как? Где ж она? Я хочу с нею познакомиться.

Мне пришлось выйти из стоявшей поодаль группы наблюдающих.

— Ближе, ближе, мое сокровище, — неожиданно сказала императрица. — А какая красавица! Сколько лет вам, милое дитя?

Я присела в книксене.

— Девятнадцать, ваше величество.

— Восхитительно! Мадемуазель скульптор! Первый раз встречаю. Очень рада видеть вас в Петербурге. Не хотите ли принять заказы от

меня? Расплачусь по-царски.

— Я была бы счастлива, ваше величество.

— Для начала пусть это будут медальоны с профилями цесаревича Павла, графа Орлова и моим. А потом посмотрим. — И позволила приложиться к своей руке. От ее перчатки пахло дорогими духами.

Неуемный Бецкой влез и тут:

— Я прошу прощения, но какие распоряжения будут относительно скульптуры вашего величества?

Даже не взглянув на него, самодержица фыркнула:

— Да какие ж могут быть распоряжения? Никаких. Я пока еще жива и не слишком много сделала для России, чтобы мне ставить памятник. Успокойтесь, Иван Иванович. Я подозреваю, что мсье Фальконе вылепил меня вследствие приказа вашего. Знаю вас, старый вы угодник! Речь идет только о Петре, слышите? — обернулась к мэтру: — Каковы ваши следующие действия, мсье? И нужна ли помощь?

Фальконет ответил:

— После одобрения вашим величеством малой модели я немедленно приступаю к воплощению памятника в идентичных размерах, по которому и пойдет отливка. Кстати, можно уже понемногу начинать строить мастерскую по литью. И, конечно, дело за камнем для постамента.

Государыня кивнула:

— Хорошо. Ты, Иван Иванович, запомнил ли? Лучше запиши. На тебе ответственность за обеспечение мастера всем необходимым, и с тебя спрошу.

А прощаясь, Екатерина разрешила мэтру в случае необходимости направлять письма непосредственно к ней, без посредников, и сказала, как это делать через камер-фурьеров. Вслед за государыней потянулись к выходу все вельможи с дамами. Проводив гостей, мы с Фонтеном и шефом обнялись по-дружески. Александр воскликнул:

— Поздравляю вас: вы, мсье Этьен, на вершине славы!

— Погодите, не торопите событий: на вершину славы мы взберемся после того, как Петр поскачет по Сенатской площади.

— При такой-то поддержке — это дело времени.

Я поддакнула:

— Нам Бецкой боле не указ. Если что — вы напишете прямо императрице. А когда я выполню заказ с медальонами — снова с ней увидимся.

Мэтр согласился:

— Да, да! Будем уповать! — И перекрестился.

Мы еще не знали, что российский двор унаследовал от Византии вместе с религией и дворцовые интриги. А Бецкой из ревности был готов на многое.

4

В мае Александр неожиданно объявил, что намерен жениться. Фальконе и я не поверили своим ушам. Что? Откуда?

— Вы простите, конечно, — произнес мэтр, — только мне казалось, сердце ваше безраздельно принадлежит мадемуазель Мари.

— Так оно и есть, — засопел Фонтен, нахмурившись, — и всегда принадлежать будет. Но ведь я не слепой: сердце ее принадлежит не мне. Для чего эти муки — мне, вам, всем?

Как говорят русские, лучше синица в руках, чем журавль в небе... А Мари останется самым близким моим другом — я всегда ей приду на помощь, если понадобится.

Я, растрогавшись, обняла его по-родственному (он ведь брат моей невестки как-никак).

— Кто же эта «синица», если не секрет? — продолжал допытываться Этьен.

Оказалось вот что. Наш Филипп, по обыкновению своему, вскоре после приезда в Петербург подцепил симпатичную вдовушку, звавшуюся Натали Вернон. Нет, она не была француженкой — русская, замужем за французом Верноном. Он когда-то был гувернером ее сестры, и Наталья в него влюбилась, а когда она понесла ребенка, и обвенчались. Муж утонул три года назад, и вдова с дочерью тратила его наследство, а сестра, вышедшая замуж за генерала, помогала им тоже. Дочь преподавала французский язык в Мещанском училище при Смольном институте благородных девиц, созданном Бецким по приказу Екатерины II. Вот Филипп и свел Фонтена с Натали и ее дочерью. Александру дочка понравилась. Начал

посещать их дом — в дни, когда мадемуазель Вернон отпускали на выходной, делал подарки, написал их портреты. Словом, приглянулись друг другу, и, хотя, по словам Александра, оба оставались невинны, он как честный человек сделал ей официальное предложение. Мать была не против (а особенно из-за перспективы переехать с дочерью и зятем в Париж), и теперь готовится свадьба.

— Как зовут твою избранницу? — с интересом спросила я.

Покраснев, он ответил:

— Так же, как тебя.

— Что, Мари?

— Нет, Анна.

— Я бы с удовольствием познакомилась с ней. Может, пригласить их с матерью к нам в гости?

— Почему бы нет? Надо будет спросить.

А поскольку уже наступало лето и хотелось больше солнца, тепла, воздуха, свободы, то решили на двух колясках съездить в Петергоф — посмотреть на дворцовый ансамбль, схожий с Версалем, и на знаменитый каскад фонтанов. Словом, отправились в воскресенье, 5 июня.

Снятые Филиппом при посредничестве Петрова экипажи ожидали нас во дворе нашего дворца-мастерской в половине восьмого утра. Мы оделись по-летнему и празднично: кавалеры в атласных камзолах жюсо-кор (Фальконе в фиолетовом, а Фонтен в коричневом), панталонах соответствующего цвета и белых чулках (разумеется, никаких париков, но зато широкополые шляпы), я же в шелковом розовом платье с небольшим декольте с кружевами, шляпе, украшенной фруктами, и в руке — складной зонтик. Сев в свою коляску, мы поехали за Вернонами.

Жили они поблизости — на Большой Морской, в доме какого-то купца, что сдавал квартиры внаем. Нас увидели с балкончика, помахали платочком, и минут через пять мать и дочка вышли из парадной. Обе чрезвычайно похожи друг на друга — миленькие блондинки с голубыми глазами, обе в модных платьях с воланами и райфромом, тоже с зонтиками. Дочь повыше и постройнее, только зубки немного подвели: были разной величины и росли неровно — это придавало ее улыбке некоторую зловещность. Но зато мать попроще и подобнее — ясная улыбка, ямочки на сдобных щеках. Александр всех

перезнакомил. Звали его невесту по-русски Анна Генриховна (исходя из того, что ее покойный отец был Анри), а мадам Вернон — Наталья Степановна, урожденная Бирюлькина. Изъяснялась она по-французски с сильным акцентом, а зато дочь — вполне прилично, видимо, общение с детства с отцом-французом сделало свое дело.

Сели так: в первой коляске — дамы Вернон и Филипп, во второй — мы втроем. Было уже за восемь, солнце высоко, и без промедления покатали в Петергоф. Не прошло и получаса, как мы выбрались на дорогу, шедшую вдоль Финского залива. Море было серовато-голубоватое, гладкое, спокойное, в чистом синем небе и на берегу много чаек, и мальчишки, стоя на валунах, удочками ловили рыбу. Очень живописно. Хоть слезай и пиши картину маслом.

Миновали Стрельну. На дороге было немало экипажей, подобных нашему: ездить на прогулку в Петергоф летним воскресным днем у петербуржцев считалось хорошим тоном. Все в веселых пестрых нарядах, сплошь и рядом под дугой звенят колокольчики. Славно!

К месту прибыли около одиннадцати. По ступенькам вышли ко дворцу — он действительно чем-то напоминал версальский, только чуть поменьше, да и парк не такой обширный. Но каскад фонтанов впечатлял. Мы, конечно, тут же стали каламбурить по поводу фамилии Александра, он хотя и смеялся, но краснел^[2]. С этими шутками-прибаутками Фальконе, Фонтен и я вытащили альбомы, взятые с собой, и в течение получаса сделали несколько набросков грифелем: мэтр зарисовал Самсона, разрывающего пасть льву, я — Нептуна с трезубцем, Александр — Психею. Дамы Вернон при этом терпеливо сидели на складных стульчиках, выставленных Филиппом, закрывались зонтиками от солнца и слегка скучали. Наконец, мы закончили наши этюды и отправились на прогулку. Поначалу прошли вдоль центрального каскада и, спустившись к морю, с любопытством осмотрели Малый дворец Петра I — «Монплеизир». Выступали парами: Фальконе и я, Анна и Фонтен, Натали и Филипп. Наслаждались бризом, ласковым теплом июня, красотой архитектуры 50-летней давности.

Удалившись от дворца в рощицу, мы решили перекусить. Благо предупредительный Филипп прикрутил к одной из колясок средних размеров дорожный сундучок, где имелись не только столовые принадлежности, но и взятые в трактире холодные закуски во льду, а

отдельно ехали оплетенные соломой бутылки с квасом и вином. Расстелили коврик, разложили салфетки. Ели ветчину, сыр, жареных перепелов и вареные перепелиные яйца, пироги, пирожные. Анна вино не пила, ограничившись квасом. А зато ее маменька лихо опрокидывала в себя стопочки. После традиционных тостов за знакомство, здоровье, за благополучие родных и близких, за любовь, за удачу, разговор пошел о грядущих переменах в России. Фальконе восхищался Екатериной II:

— Вашей стране очень повезло с императрицей. Европейка по происхождению, принесла она все то лучшее, что выработала Европа. Я с Вольтером не согласен в корне по атеизму его — общество без Бога мертво и обречено, но идеи просвещения, гуманизма разделяю полностью. И Екатерина, по-видимому, тоже, находясь в переписке с ним. И с Дидро. Мсье Дени — общий наш друг с Мари. Собирается погостить в России, принимая приглашение ее величества. Я ему написал, что мы тоже ждем его с нетерпением.

Анна рассказала, что ее Смольный институт создан Екатериной и Бецким по подобию французского института Сен-Сир, где воспитывают девочек из дворянских семей с шести лет; обучая до восемнадцати; им запрещено общаться с родителями, чтобы те дурно не влияли на дочек. А три года назад Бецкой основал при Смольном и Мещанское училище — для девиц из купеческих и мещанских семей (кроме крепостных). Принципы обучения те же. Анне работа нравится, но, наверное, выйдя замуж за Фонтена, посвятит себя целиком семье. Александр смотрел на нее с умилением и все время гладил ручку, — видимо, мне в отместку, но, признаюсь, что ни капли ревности в моем сердце не появилось.

За такой болтовней мы и не заметили, как Филипп и Наталья Степановна нас покинули. Фальконе посмотрел на меня со значением, отчего я весело посмеялась. Он сказал мне на ушко: «Может быть, и нам с тобой прогуляться? Пусть жених и невеста побудут наедине». Почему бы нет? Помахали им ручкой и направились в близлежащий лесок. Я произнесла:

— Хорошо, дышится легко! Молодая зелень плюс морской воздух просто опьянили меня!

— Плюс еще вино, — подсказал мэтр с улыбкой. — Я как будто лет на двадцать помолодел.

— Почему «как будто»? — посмотрела на него с восхищением. — Ты и есть молодой. Ни один человек не даст тебе пятидесяти — тридцать пять максимум.

Он поцеловал меня в ямочку между ушком и шеей. Прошептал:

— Отчего бы нам не заняться тем же, чем Филипп и его матрона?

— Ты серьезно? — Я спросила с недоумением, прислоняясь к дереву. — А не слишком ли это смело — тут, куда могут забрести праздные гуляки?

— Да плевать, плевать. — Фальконе уже распалился, покрывая мое лицо поцелуями. — Я хочу тебя. Я с ума с хожу от вожделения!

— Боже, что мы делаем!..

А потом, обессиленные, удовлетворенные, обнимали и целовали друг друга в неге и истоме. Он отряхивал чешуйки коры дерева у меня со спины, я — с его чулок. Улыбались, смеялись, как дети. Это были самые счастливые мгновения моей жизни.

Возвратились к нашему коврику на траве и застали Анну и Фонтена в тех же позах, что и раньше: девушка сидела, опершись на подушку, а наш друг возлежал возле ее ног; судя по всему, с ними за этот час ничего не произошло. Вскоре вернулся и Филипп с Натали — раскрасневшиеся, довольные. Мы хотели благополучно доесть и допить то, что взяли с собой, как внезапно небо заволкло тучами, и на нас обрушился едва ли не тропический ливень. Вся компания бросилась под деревья, кавалеры накинули на дам свои камзолы, но ни это, ни солнечные зонтики никого не спасли — каждый вымок до нитки за несколько минут. А еще минут через десять облака рассеялись, засияло солнышко, словно бы дождя и не было вовсе. Петербургская погода лишний раз доказала свою изменчивость.

Натали сказала:

— Здесь неподалеку домики рыбаков, есть и баньки, можно заплатить, чтобы нас пустили помыться и обсохнуть. А не то и лихоманку можно подхватить.

Так и сделали. Русские в бане моются вместе — женщины и мужчины, не считая это зазорным, но поскольку из нас коренной русской была лишь мадам Вернон-Бирюлькина, мы настояли на том, чтоб ходить в мыльню порознь. Первыми запустили дам; я отметила совершенство форм будущей жены Александра, да и маменька без одежды выглядела тоже неплохо. Долго мы не парились, чтобы

кавалеры не озябли в ожидании. А пока все плескались, наше облачение сохло на печи. В довершение всего рыбаки, хозяева бани, угостили нас на дорожку крепкой бражкой и мочеными яблоками — от того и от другого мы настолько раскисли, что обратную дорогу в Петербург вспоминаю с трудом.

Так прошло это воскресенье.

А к исходу августа выяснилось, что я беременна.

5

Лето 1768 года вообще богато было на события. Я всю работала над заказом императрицы, но, конечно, не без некоторых трудностей. Если саму Екатерину и графа Орлова я видела воочию, а царицу вообще уже лепила, хоть и по двойнику, то наследника мне пришлось ваять по доступным портретам — и не потому, что мать не хотела допускать скульптора к сыну, а лишь потому, что он болел и врачи не позволяли ему встречаться с кем бы то ни было из посторонних. Заодно я внесла изменения в бюст самой Екатерины (тот, что был исходником для ее скульптуры) — чуть прибавила пухлости щекам, округлила подбородок и слегка приподняла брови. Все мои работы, включая бюст, перевез в Царское Село Бецкой. Вскоре пришло письмо от ее величества. Вот оно, на французском, я его сохранила на всю жизнь как бесценную реликвию:

«Дорогая мадемуазель Колло, милая Мари, я была в очередной раз восхищена талантом Вашим. Медальоны великолепны, граф Орлов, цесаревич и я чрезвычайно похожи, бюст вообще выше всех похвал. Гонорар за проделанную работу Вы получите в Канцелярии от строений, а Ивану Ивановичу Бецкому я велела организовать избрание мсье Фальконе и Вас академиками Академии художеств. Но не почивайте на лаврах: впереди новые заказы, Вы у меня без работы не останетесь. Обнимаю Вас, милое дитя. Ваша Екатерина».

Деньги, выданные мне (а именно — 45 тысяч ливров), я по почте переслала в Париж брату с просьбой открыть счет на мое имя в банке под хороший процент — пусть лежат и копятся к моему возвращению из России. Мало ли куца повернет судьба, надо быть во всеоружии при любом раскладе.

Фальконе работал не покладая рук над большой моделью памятника Петру (в масштабе 1:1) и закончил бы его к осени, если бы не отвлекался на дела с постаментом. Вместе с де Ласкари ездил под Кронштадт и осматривал камень, но по-прежнему оставался в сомнениях — не устраивали его ни величина, ни фактура, ни пропорции. А Бецкой торопил. У Этьена голова шла кругом. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы в последних числах августа не возник на нашем пороге бородатый селянин лет примерно сорока, в белой простой рубахе, полосатых портах, заправленных в сапоги, и с котомкою на плече. Снявши шапку и поклонившись, обратился к мадам Петровой, открывавшей дверь:

— Оченно извиняюсь, ваше степенство, только не доложите господину французу, что ваяют памятник царю, мол, имею до него дело?

Женщина ответила:

— Доложить доложу, коли буду знать, как сказать. Кто таков и какое дело?

— Есмь казенный крестьянин Семен сын Григорьев Вешняков из деревни Ореховки Устюжинского уезду. Слышали мы, будто посулили они сто рублей за камень, на который памятник поставить. Так имеется таковой в Лахтинском лесу. Прозывается он Гром-камень, в честь царя, значить, Петра Алексеича.

— Ну, гляди, коли врешь, спуску не дадут.

— Для чего же врать, коли говорю, словно на духу.

Вешнякова впустили и препроводили в мастерскую. Он увидел почти законченную модель монумента, ахнул и перекрестился. Прошептал:

— Свят, свят, свят! Будто бы живой!

Я перевела. Фальконе спросил:

— Кто, Петр?

Крепостной отозвался:

— Нет, конь.

Фальконе рассмеялся, а Семен продолжил:

— Мы Петра Алексеича-то зреть не зрели, бо они почили в Бозе до нашего рождения. По рассказам стариков знаем. Посещали царь-то батюшка наши места. И на камешке том стояли.

Мало-помалу при моем и Петрове посредничестве удалось прояснить его легенду. Якобы много лет назад, воевали когда русские со шведами, проезжал Петр эту Лахту и увидел глыбу, торчащую из земли. Захотел подняться и осмотреть местность. Тут внезапно налетела гроза, гром гремел, молнии сверкали, и одна из них прямо-таки ударила в камень, на котором стоял император. И кусок камня отвалился. Но его величество не задело. Он перекрестился и сказал: «Бог меня бережет». И с тех пор население Лахты именует валун Гром-камнем.

Мэтр слушал, словно замороженный, бледный, и сказал потом:

— Пресвятая Дева, да ведь это знамение! Камень, на котором стоял Петр, должен быть постаментом Петру. Да еще название какое — Гром! Петр и есть гром и молния. Едем к де Ласкари!

И они помчались в Канцелярию от строений, где крестьянин снова изложил все, что знал про глыбу, а потом спросил, где и когда можно получить обещанные сто рублей. Де Ласкари ответил: «Все получишь сполна, я еще от себя добавлю, если камень твой к делу подойдет». Было решено, что на завтра утром он, Фальконе, Вешняков и несколько солдат сопровождения поспешат в Лахту.

Дальше знаю со слов мэтра.

Ехали около двух часов: по мосту через Неву, а затем вдоль Большой Невки мимо Крестовского острова. Вскоре по правую руку увидели озеро Лахтинский Разлив, где поблизости находилась мыза, поднесенная Екатериной II Григорию Орлову. Здесь де Ласкари спешил, а Этьен и Вешняков вылезли из брички, на которой тряслись. Углубились в лес — шли не менее полутора часов, если не больше, по каким-то тропкам, известным одному Вешнякову. Лес стоял дремучий, корабельный, кроны наполовину скрывали небо, под ногами хрустели сучья и опавшая хвоя. Фальконе размышлял с тревогой: даже если камень удачный, как его достать из этой чащобы? Как перевезти к берегу? А потом — на каком судне переправить до центра города?

При дальнейшей ходьбе почва начала хлюпать — началось болото. «Скоро еще?» — раздраженно спросил де Ласкари, совершенно изгваздавший сапоги. «Туточки, мы пришли уже», — отвечал крестьянин. И действительно: взору их открылось обширное пространство посреди болота; весь во мху, покрытый травой,

возвышался неимоверных размеров валун, видимо, вполовину вросший в землю. Он превосходил размерами камень из Кронштадта раза в полтора. Был намного больше, чем требовалось для памятника, и к тому же округлой формы — а у монумента пьедестал предполагался в виде волны; значит, предстояли камнетесные работы. Но обтесывать — лучше, чем наращивать из нескольких составляющих. И к тому же первичную обработку можно было бы сделать прямо в лесу, облегчив тем самым задачу по транспортировке к заливу.

— Ну, что скажете? — обратился де Ласкари к ваятелю.

Фальконе проговорил:

— Лучше и представить нельзя. Никаких иных вариантов не требуется. Эта глыба нам ниспослана небесами.

— Закавыка одна: как ее отсюда выудить?

— Ох, подумать страшно!

Сели, перекусили, перекурили, стали рассуждать. Ну, допустим, это болотце осушить не проблема — не такое оно обширное. Обкопаем камень до основания, чтобы сдвинуть с места. Просеку прорубим в лесу. А потом, потом? Чем толкать? Как тащить? Сколько потребуется сил и средств?

Адъютант Бецкого сказал:

— Что пугаться зряшно? Дело сделано: камень мы нашли. Завтра же с утра доложу шефу. Видимо, генерал сам захочет узреть воочию. Если он одобрит, то доложит императрице. И они совместно напишут указ о работах по пьедесталу. Выделят средства. Бросим клич механикам, инженерам... Премию объявим — кто придумает машину по перевозке камня, тот получит, не знаю, десять тысяч.

Тут проклюнулся Вешняков:

— Я, конечно, извиняюсь, но несправедливо зело: мне, известно, сто, а ему, значит, десять тысяч?

Шевалье оскалился:

— Ты, дурак, не равняй, пожалуй. Указать на камень — одно, а доставить его на место — абсолютно другое. Впрочем, если изобретешь нужную машину и ее построят, может быть, и сам получишь прибавку.

Уязвленный крестьянин замолчал.

Фальконе вернулся домой уже затемно. От усталости еле держался на ногах. Только произнес:

— Уж не знаю, радоваться находке или нет. Замечательный валун, уникальный. Но доставить его сюда — все равно что построить пирамиду в Египте. Голова трещит! — Выпив стакан вина, он отправился в свою комнату и упал на кровать, как подкошенный.

6

Свадьбу Александр сыграл осенью. Оба новобрачных были католики (мсье Вернон покойный обратил в католичество и Наталью Степановну и затем по нашим же канонам окрестил дочку). Католический приход Святой Екатерины Александрийской был основан в Петербурге еще при Петре, а его племянница, Анна Иоанновна, разрешила возведение храма на Невском проспекте. Но при нас это здание стояло еще не достроенным, и молебны проходили в зале дома по соседству. Службы вел настоятель отец Жером, близорукий господин лет пятидесяти пяти, иссиня выбритый, с тихим, вкрадчивым голосом. Я исповедовалась у него не единожды. Спрашивал так: «Ты грешна ли, дочь моя?» Я отвечала утвердительно: да, живу с мужчиной, с ним не будучи в браке. «Это тяжкий грех, — соглашался священник. — Надо обвенчаться». — «Обвенчаемся, как только сможем». — «Нет, тянуть нельзя, погрязая во грехе все больше и больше. А появятся детки? Незаконнорожденные?» Возразить было нечего. И отец Жером отпускал грехи, взяв с меня слово, что пойдем под венец. А поскольку под венец мы не шли, каждая новая исповедь повторяла предыдущую.

Но зато у Фонтена все произошло замечательно: воскресенье, 11 сентября, выдалось безоблачное, теплое — то, что русские называют «бабьим летом». Приглашенных было не очень много — человек пятнадцать. Все красиво одетые, напудренные, надушенные. Но, конечно, невеста и жених первым номером — Александр в темно-синем камзоле и массивных туфлях с пряжкой, а его Аннушка в белом кринолине и ажурной диадеме. Так как отца у нее не было, проводить молодую к алтарю поручили Фальконе. Новобрачным поставили две скамеечки возле ног настоятеля, и они уселись к нам спиной, а к нему

лицом, как два птенчика. Настоятель произнес проповедь. И затем по канону спросил, нет ли у кого сведений, препятствующих ко вступлению в брак сих рабов Божьих. Сведений ни у кого не было. Я на бархатной подушечке вынесла венчальные кольца. Молодые ими обменялись, после чего стали мужем и женой и скрепили этот акт поцелуем. Мы остались довольны.

Стол накрыли в бывшем дворце Елизаветы Петровны прямо во дворе, так как погода позволяла, а строительство театра по соседству в воскресенье не шло. Было много тостов и пожеланий. Натали Вернон умиленно плакала. Сбоку играл лирические мелодии струнный квартет, нанятый Филиппом. Во второй половине празднества многие танцевали, в том числе и я с Фальконе. Он сказал мечтательно:

— Вероятно, и мы так поженимся когда-нибудь...

— Неужели? — вырвалось у меня. — Ты решишься?

— Дело не в решимости. — Мэтр вздохнул. — Просто памятник занимает нынче все мои мысли. Доведу до ума, и потом сразу под венец.

— А ребенок пусть пока рождается незаконным?

— Да, ребенок, ребенок, — вспомнил скульптор. — Я, конечно, ребенку рад, это дар Божий, но теперь, честно говоря, так не вовремя... Ну, посмотрим, посмотрим. Не печалься, дорогая Мари. Ты же знаешь меня. Я человек честный, не оставлю тебя ни с чем, да еще и с младенцем на руках. Просто потерпи. Все в свое время.

— Хорошо, потерплю, пока есть силы.

Что я могла еще сказать? Я любила его больше жизни. И готова была смириться со всеми чудачествами гения.

Свадьба закончилась на веселой ноте, новобрачные отбыли на Большую Морскую, а мадам Вернон осталась переночевать у Филиппа. Гости расходились сытые, пьяные и довольные. Только я всплакнула в темноте, лежа поздно ночью у себя в комнате. Чувствовала счастье и несчастье одновременно. Да бывает ли вообще идеальное счастье — без тревог, без грусти? Даже в самые счастливые дни понимаешь, что твоя радость и твоя удача суть конечны, что и сам ты конечен, и конечность твоего бытия вызывает страх. Да, душа бессмертна, но зато тело бrenно. Сердце — это часть тела, и оно болит в ожидании остановки.

Но недаром русские говорят: утро вечера мудренее. Встав 12 сентября поутру, я уже пребывала в хорошем настроении, и ночные мои тревоги улетели прочь. Надо было дальше жить, и творить, и любить.

В октябре Екатерина II, возвратившись из Царского Села, пригласила меня к себе. Встреча была назначена на десять утра, я отправилась в экипаже, присланным Бецким. (По контракту, за Фальконе закреплялась карета, но на деле определенной кареты не было, каждый раз он писал ходатайство к де Ласкари, капитан без особой охоты направлял нам любую, бывшую в тот момент в его распоряжении.) Накануне я почти не спала, приводя в порядок свой туалет — чепчик, платье, туфли, перчатки и проч. Кровь стучала в висках. Что императрица предложит мне? Как себя вести в ее присутствии? Отчего позвали только меня одну?

Зимний дворец поражал своим величием и мощью. С Дворцовой площади я попала внутрь. Там была лестница, у которой, словно статуи, неподвижно стояли чернокожие лакеи. Пахло какими-то благовониями. И едва ли не каждую дверь охраняли караульные с саблями. Зеркала, позолоченные рамы, гобелены, картины, золоченые канделябры, люстры, росписи потолков, под ногами паркет и ковры, — все это потрясало воображение. Сразу чувствовал себя маленькой пылинкой в этом царстве великолепия.

Мне навстречу вышла статная дама в очень дорогом платье и высоком белом парике. Обратилась ко мне по-французски:

— Бонжур, мадемуазель Колло. Рада видеть вас. Разрешите представиться — фрейлина ее величества Анна Михайловна Волконская. Мне поручено проводить вашу милость в покои императрицы.

— Мерси бьен.

Мы пошли через ряд комнат, где сидели на диванах и стояли у окон, и бродили взад-вперед какие-то люди, большей частью в париках и расшитых камзолах; я не удержалась и спросила:

— Кто они и чего хотят?

Анна Михайловна снисходительно улыбнулась:

— Одного хотят — лицезреть ее величество, обратиться с просьбой, обратить на себя внимание. Я не знаю половину из них. Половину из них никогда не пустят к императрице. Но они питают надежду.

— Как же они сюда попали, если никому не известны?

— Отчего «никому»? Каждый кого-то знает из окружения государыни и по доброй воле знакомого или же за деньги смог пройти во дворец. У монаршего двора свои тайны.

В окнах мелькала Дворцовая площадь. Мы прошли, по-видимому, спальню, так там стояло огромное ложе под балдахином, и свернули налево — в кабинет. Первыми нас встретили две собаки — шпиц и левретка: не облаяли, тщательно обнюхали, заглянули в глаза и приветственно помахали хвостиком. В кабинете были только дамы — пять или шесть, исключение составлял Бецкой, восседавший у ширмы в глубине, с книгой на коленях. Сбоку был камин, но не топленый — на дворе еще не ударили холода. Мальчик-арапчонок в белом парике убирал с блюда очистки апельсина и яблока.

Государыня сидела в кресле у стола, уставленного письменными принадлежностями, перед стопкой бумаг, и читала верхнюю из них. Подняла глаза и приветливо улыбнулась:

— Доброе утро, милое дитя. Как вы поживаете? Как дела у мэтра Фальконе?

Поблагодарив, я ответила, что, слава Богу, все идет нормально, и большая модель была бы уже готова, если бы мсье Этьена не раздражали звуки стройки поблизости.

— Да, он мне писал, — вспомнила царица. — Но мсье Бецкой клятвенно заверил, что теперь строители сделались потише. Частный театр нужен Петербургу, государство не в силах содержать много театров.

— Понимаю, ваше величество.

Рассказала ей о Гром-камне в Лахте. Самодержица и тут была в курсе:

— Да, мсье Бецкой мне докладывал. — Обернулась к нему: — Вы уже смотрели его?

Тот привстал в поклоне:

— Третьего дни, ваше величество, вместе с Фельтеном. Камень потрясает своими размерами. Юрий Матвеевич также подтвердил, что находка уникальна, и само Провидение нам ее послало.

— Как же вытащить валун из болота?

— Инженеры наши начали решать сей вопрос.

Снова обратилась ко мне:

— Что же вы стоите, Мари? Будьте любезны, сядьте. Так общаться легче. Знаете, для чего я вас позвала?

— Затрудняюсь ответить, ваше величество. Вероятно, пожелали заказать мне новые работы.

— Это непременно, — согласилась императрица. — Вы, я знаю, в Париже сделали бюст Дидро. Повторите его для меня, пожалуйста. И еще хочу бюст Вольтера. Я с обоими в переписке, и мне будет веселее сочинять им эпистолы, видя их лица перед собой.

— Буду очень стараться. Правда, я Вольтера живьем не видела, и придется воссоздавать внешность по рисункам.

— Да, да, очень хорошо, — покивала Екатерина рассеянно. — Но позвала я вас не за этим. То есть, лучше сказать, не совсем за этим. Главное — все-таки памятник Петру. Беспокоит меня его голова — в смысле том, что мсье Фальконе не поймал пока норов самодержца. Видимо, посмертная маска императора слишком над ним довлеет. Как вы полагаете?

Я смутилась, честно говоря, не считая себя вправе обсуждать деятельность мэтра. Государыня поняла и продолжила:

— Можете не отвечать, ибо истина вполне очевидна. Ну, так вот: а поскольку вы большая искусница по части портретов, предлагаю голову Петра воссоздать вам.

Заявление было столь неожиданным, что слова застряли у меня в горле. Наконец пришла в себя и сказала:

— Но с этической точки зрения... можно ли сие допустить?.. Фальконе — автор, мэтр, классик. Страшный удар по его самолюбию... Боже упаси!

Но царица отступать не хотела:

— Ах, Мари, не заботьтесь о формальностях. Все этические вопросы мы с Бецким берем на себя. Фальконе — он как был автор памятника, так им и останется. Совершенно точно. Вы — его официальная помощница, по его контракту, вот от вас и требуется

помощь, только и всего. Сделайте этюд, набросок. А затем он сам доведет до совершенства. Соглашайтесь. Собственно, вы не согласиться не можете. Если не хотите со мной поссориться. Вы ведь не хотите?

— Нет, конечно, ваше величество.

— Значит, по рукам. — Повернулась к Бецкому. — Остальное возьмите на себя, Иван Иванович. Действуйте от имени моего — я даю вам карт-бланш.

Генерал поклонился:

— Слушаюсь, матушка государыня.

— И пожалуйста, не забудьте о моем обещании сделать Фальконе и Мари нашими академиками. На дворе октябрь. Не затягивайте, милейший.

— Слушаюсь, матушка государыня.

— Обо всех новостях по модели, по Гром-камню и Академии мне докладывайте немедленно.

— Слушаюсь, матушка государыня.

— Вот и договорились, — посмотрела на меня с материнской улыбкой. — Ну, ступайте, ступайте, милое дитя. — Протянула мне руку для поцелуя, без перчатки, я увидела голубые прожилки на тыльной стороне ее ладони и красиво подточенные ногти с бесцветным лаком; кожа была мягкая, ухоженная, душистая. — Жду от вас только хороших сообщений. Огорчать русскую императрицу никому не пристало. Помните об этом.

— Помню, ваше величество.

Возвращалась из Зимнего дворца в панике. Разговор с Екатериной сложился, конечно, более чем удачно, мы в фаворе, власти нам благоволят, только как теперь сказать Фальконе о ее идее по поводу головы Петра? Шеф, с его самолюбием, импульсивностью, может сгоряча натворить всяких бед. Не сказать же нельзя, выйдет только хуже, если он узнает от Бецкого, спросит меня: «Отчего молчала?!» Я не знала, что предпринять.

Разумеется, первым, кто меня встретил у дверей мастерской, был Этьен. Начал тормошить:

— Ну? О чем? Как сложилось?

Отводя глаза в сторону, пробурчала:

— Что-то хорошо, что-то плохо...

— Не томи, рассказывай... — Усадил меня на диван напротив. — Для чего вызывала? Новые заказы?

Я поведала все как было — и о заказах, и об Академии.

— Ну а что плохого?

— Понимаешь... только не волнуйся...

— Пресвятая Дева, я уже волнуюсь!

— Государыня предложила... мне... попытаться... так сказать, набросок, этюд... головы...

— Чьей?

— Петра.

У него лицо побледнело.

— Для чего — Петра?

— Чтобы ты в случае моего успеха им воспользовался для монумента...

— Черт! — воскликнул он. — Как она могла? Это черт знает что такое! Чтобы я согласился... чтобы ты... — И лицо его стало красным от гнева. — Ты, конечно же, отказалась?

— Я пыталась ей возражать — правда, правда пыталась. Но она слушать не хотела.

Фальконе вскочил.

— Негодяйка! Дрянь! Гадюка!

— Кто — я? — посмотрела на него в страхе.

— Да при чем здесь ты? А хотя и ты тоже, если согласилась! Обе хороши! Женщины, женщины — чертово отродье!

— Но Этьен, пойми... это императрица...

— Шлюха она, а не императрица. Вот поганка! Всё! Финита ля комедия! Разрываю контракт, возвращаюсь в Париж.

— погоди, успокойся. — Я пыталась его образумить. — Ты останешься автором памятника единолично. Я тебе просто помогу... подскажу... если у меня выйдет...

Он шарахнулся от меня, как от прокаженной:

— Ты?! Подскажешь мне?! Пигалица! Девчонка! Прочь пошла! Ненавижу! Дура!

Неожиданно схватил увесистую кувалду и, подняв ее, как знамя, бросился крушить большую модель. Я повисла у него на руке, не давая осуществить это черное дело. Отшвырнув меня, мэтр развернулся и со

всей силы разmozжил кувалдой голову Екатерины — статуи, которую делали мы с Александром. А вторым ударом снес ей грудь.

Я лежала на полу и рыдала.

Бросив кувалду, он выбежал из мастерской.

Было больно, горько, страшно.

Под собой почувствовала какую-то жижу. Посмотрела — и увидела кровь.

Так я лишилась нашего ребенка.

Глава седьмая

ГРОМ-КАМЕНЬ

Между тем де Ласкари развернул кипучую деятельность в Конной Лахте. До начала мокрой осенней погоды упомянутое мною болотце осушили, глыбу начали окапывать. В то же самое время нанятые лесорубы расчищали путь от камня к заливу; напрямую пробивать его не могли из-за неровностей ландшафта — проложили несколько поворотов пути. Тем не менее дело оставалось за главным — как транспортировать гранитного великана? Фальконе с Фельтеном и мастеровыми много раз выезжали на место, делали замеры. Вот их записи: 27 футов вышины, 44 фута в длину, вес примерно 3 миллиона фунтов.^[3] Здесь не то что перевезти — сдвинуть с места затруднительно. С одобрения императрицы генерал Бецкой объявил награду — 1600 рублей тому, кто придумает механизмы перемещения.

Предложений появилось несколько, только все они были мало пригодны. И когда уже работы приходилось прекращать из-за неясностей дальнейших действий, появился некий слесарь Фюгнер. Ничего не знаю о нем — ни об имени, ни о месте его службы (судя по фамилии — немец), так как лично с ним не общалась, слышала только от Фальконе, а в ту пору мы, рассорившись, мало разговаривали. Якобы Фюгнер прибыл в Контору от строений и, поймав де Ласкари, изложил ему суть изобретения. Строго говоря, и изобретения-то не было — он читал в старых книжках, что подобным образом в Средние века доставляли каменные блоки на строительство какого-то собора в Германии, кажется, Кёльнского. И хотя, конечно, блоки были легче нашего Гром-камня, смысл механизма оставался оригинальным. Опишу его со слов Александра Фонтена, принимавшего в работах непосредственное участие.

Изготавливалась платформа для тяжести (камня, валуна), снизу которой крепились два желоба, покрытые медью. Точно таких же два желоба на деревянных рельсах клались на землю. Отливались

бронзовые шары по размеру желобов. И таким образом шары катились по желобам, перемещая платформу. Рельсы, по которым платформа уже проехала, сзади убирались и клались спереди. Просто и поэтому гениально.

Злые языки говорили, что поскольку де Ласкари внес в проект дополнения и усовершенствования, то и выдал механизм якобы за свой, получив от Конторы 1600 рублей, из которых Фюгнеру отдал всего лишь 500. Но не знаю, насколько это правда. То, что де Ласкари был большим жуком, несомненно (это показали и дальнейшие события), но отважился ли он действовать столь уж беспардонно, не уверена. Вот меня лично он ни разу ни в чем не обманул.

Как пошли дожди и почва раскисла (а болотистая — тем более), так земляные работы прекратились до заморозков. Но деревья продолжали рубить.

Вместе с тем Бецкой, по приказу императрицы, обратился в Адмиралтейство с просьбой определиться, на каких судах можно переправить Гром-камень из Лахты по Финскому заливу и Малой Невке в Неву к Сенатской площади (где еще предстояло выстроить специальную пристань). Адмирал Мордвинов поначалу неохотно занялся этим вопросом (шла война Турции с Россией, и военные корабли были на вес золота), но когда получил нагоняй от ее величества за затягивание решения, быстро собрал своих капитанов и корабелов для консультаций; их ответ не порадовал — нет в империи подходящего судна. Выход был один: строить новую баржу с небольшой осадкой, а потом ее вместе с глыбой тащить двумя парусниками по бокам. Изучив бумаги, государыня дала добро. Разработку грузовоза поручили лучшим конструкторам кораблей (если я правильно записала их фамилии — Корчебникову и Михайлову), а руководил постройкой капитан-лейтенант Лавров (он потом и вез Гром-камень по морю).

Рождество 1768 года встретили мы нешумно, тихо, посемейному. Фальконе я давно простила, деловые отношения нормализовались, но

уже прежней пылкой страсти не было. Вроде оба боялись посмотреть проникновенно в глаза друг другу.

После той трагедии я неделю лежала, как убитая, никого не хотела видеть, ела и пила чисто механически, чтобы лишь самой не погибнуть, выполняя предписания докторов из-под палки. Ожила понемногу. Мэтр, конечно, никуда не уехал, быстро пришел в чувство и однажды, заглянув ко мне, очень сдержанно попросил прощения. Я ответила, что зла не держу, всякое бывает, и жалею только о ребеночке. Он сказал, что на все воля Господа, испытания нам даются для очищения и искупления, и, когда мы заслужим, Бог нам даст новое дитя.

Я ни соглашалась, ни возражала. А про голову Петра разговора не было вообще.

Бюст Дидро повторила я быстро, а вот с бюстом Вольтера мне пришлось повозиться — изучать портреты и искать схожую модель (мне помог Александр, видевший Вольтера в мастерской Лемуана). И за всеми этими хлопотами незаметно подошло Рождество.

Праздновали на квартире Фонтенов — после свадьбы те переехали в более просторную, где имелось пять комнат, две из которых занимали молодые, в третьей жила мадам Вернье, плюс гостиная и столовая. В небольшой клетушке без окон обитала служанка. Александр выглядел довольным все это время, без конца расхваливая «маленькую женушку» (думаю, не без умысла — мне назло), сообщил, что, как только статуя Петра будет подготовлена для отливки и контракт закончится, он с семьей уедет во Францию, где создаст свою собственную студию. Мы смотрели на него с умилением — как бы там ни было, но приятно, если человек дуреет от счастья.

После посещения храма (а вернее, зала, где велись службы), выслушав проповедь отца Жерома, а потом как следует отужинав на квартире Фонтенов, мы сыграли в карты по-русски (это называлось «Акулина», или «Колдунья» — скидывались парные карты, у кого оставалась дама пик, тот и проиграл), незамысловато, но весело. Акулиной сначала три раза оставался Филипп, а потом по разу я, Анна и мадам Вернон, наконец, четыре раза — Фонтен (Фальконе не играл и сидел в кресле в углу с каким-то журналом). Александр, будучи под сильными винными парами, сразу обиделся и сказал, что мы шулеры. Неожиданно Анна усмехнулась: «Мы не шулеры, просто ты по жизни

неудачник». — «Я неудачник?» — удивился он. «Ну, конечно: скоро двадцать пять, а как мальчик на побегушках у мэтра». — «Замолчи, — прошипел наш приятель зло, — замолчи, негодница!» — «Я негодница? — тут уже обиделась Анна. — Чем же это я не годна?» — «Тем, — ответил Фонтен, набычившись, — тем, что ты не была девочкой, когда я женился на тебе». Начался бы скандал, если бы мы троим — я, Наталья Степановна и Этьен — не заставили их замолкнуть, потому что ругаться в рождественскую ночь — тяжкий грех.

Тем не менее общее веселье было испорчено. Вскоре Фальконе и я засобирались к себе (мэтр разрешил Филиппу остаться). Мы надели шубы и шапки, попрощались со всеми по-русски — троекратным поцелуем, наказали им больше не ругаться и вышли на улицу.

Ночь стояла ясная, морозная. Под ногами поскрипывал снег. Фонарей было мало, и горели они неярко.

— Настоящая русская зима, — произнес Этьен восхищенно. — Словно в сказке. Все-таки Россия — сказочная страна.

Я вдохнула морозный воздух.

— Да, какая-то первозданная. Европейской суеты нет. Люди проще.

— Будем вспоминать Петербург по-доброму. Вот закончу я большую модель, мастера-отливщики за год закончат свое дело, установим на площади, и, наверное, в семьдесят первом, самое позднее — семьдесят втором году возвратимся домой. Там уж заживем в свое удовольствие — без Бецких и де Ласкари.

— Дай-то Бог, — согласилась я.

Повернули на Невский и столкнулись с конным разъездом — офицером и драгуном, объезжавшими улицы. Поздоровались с нами по-русски, мы с ними тоже. Офицер сказал:

— Осторожнее с променадом, господа: нынче ночью тати промышляют. Трех уже словили.

— Мерси бьен, будем начеку.

И действительно — не успели мы подойти к нашему обиталищу, как дорогу нам заступили три зловещих мужика в укороченных тулупчиках, называемых русскими «полупердунчиками», и косматых шапках.

— Что вам надо? — с вызовом спросил Фальконе по-русски.

— О, хрянцуз, — догадался один из мужиков — очевидно, по акценту. — Значится, небедный. «Что нам надо»! Денежки давай, золотишко, камешки — и с мадамы тоже. Коль отдашь по-хорошему, так отпустим с миром.

— Да, да, — согласился мэтр и полез в карман.

Неожиданно выхватил ножик — тот, которым он счищал глину со шпателя, узкий, острый, больше похожий на плоское шило, — и мгновенно полоснул говорившего по лицу. А потом второго — по руке. Третий схватил Этьена за горло, но несильно, как-то вскользь, и поэтому тоже получил удар лезвием по бедру. Я пронзительно закричала, и на крики мои прискакал разъезд. Тут же, на наше счастье, появился из дома Алексей Игнатьевич, наш домоправитель, с фонарем в руке: «Что за шум, а драки нету?» — и помог патрулю вязать грабителей. Все прошли в дом, офицер записал наши показания, а мадам Петрова утирала при этом кровь, текшую у лиходеев из ран. Наконец, преступников увели, и у нас у всех вырвался выдох облегчения. Выпили чаю, а Петров и Фальконе — по стаканчику. Засиделись чуть ли не до пяти утра.

Мэтр проводил меня до моей комнаты и по-детски, в щеку, поцеловал на пороге. Я взглянула на него вопросительно. Он тряхнул прядями волос:

— Нет, нет, только не сегодня. Я чертовски устал. — И погладил меня по плечу. — Как прекрасно, что мы вместе. Я пропал бы один.

— Ты про то, что разъезд прискакал на мои крики?

— Да, конечно, но не только. Ты моя судьба, это ясно. — Наклонился и поцеловал мне руку. А потом сказал мягко: — Хочешь — вылепи голову Петра. Я согласен.

— Неужели?

— Мы с тобой одно целое. Делаем одно дело. И неважно, кто какую часть.

— Я благодарю за доверие, дорогой. И попробую. Может быть, получится.

Обнял меня и прижал к себе крепко. Мы поцеловались, но Этьен все равно не захотел посетить мою комнату. Повернулся и пошел к себе, только иногда вскидывая руку, рассуждая с самим собою о чем-то.

Церемония нашего избрания академиками состоялась 3 марта 1769 года. Было очень торжественно. Дамы в нарядных платьях, очень многие в париках, и мужчины в париках, разноцветных ярких камзолах. Фальконе без парика (он его терпеть не мог), волосы даже не напудрены. Темно-синий жюскор^[4], бледно-синий жилет с бесчисленными пуговицами, кружева на сорочке и белый галстук, больше похожий на шейный платок. У меня — не слишком открытое атласное платье цвета бордо с пышными рукавами и высокая прическа «пуф о сантиман», очень модная в то время, с украшением из перышек и ниток жемчуга. Мы вошли в залу, где стояли античные статуи (разумеется, гипсовые слепки) и висело много картин на библейские темы. Нас пригласили сесть в кресла для гостей, справа от возвышения под балдахином, где располагалось не кресло, а блистал трон, очевидно, для монарших особ. Вице-президент Чекалевский суетился, наводил последний марафет. Ждали Бецкого.

Наконец, он вошел — сухопарый, подтянутый, в сером парике, весь напудренный и надушенный, чуть прихрамывая на левую ногу. Все поднялись, приветствуя его. Президент Академии быстро взошел на возвышение и уселся на трон. Милостиво кивнул. Все уселись тоже.

Чекалевский произнес небольшую речь о Фальконе и обо мне — о его и моих заслугах, характеризуя наши скульптур-ные работы как великолепные произведения изобразительного искусства. Подчеркнул, что прибыли мы в Россию по желанию ее императорского величества и что государыня нам оказывает всяческое содействие. Посему предложил нас избрать академиками императорской Академии художеств. Публика снисходительно похлопала.

Членам Академии, что сидели отдельно, было роздано по два шара — белый и черный. По кивку Бецкого, каждый из них по очереди заходил за ширму, где стояли три ларца с круглыми прорезями: белый для белых шаров, черный для черных и внизу большой — для оставшихся. Заняло голосование минут двадцать. Первым вотировался Фальконе как мэтр и учитель. И когда все шары были вброшены, два служителя вынесли ларцы из-за ширмы. Чекалевский их открыл.

Черный шар имелся только один. Гости заплодировали бурно, а Этьен поднялся и раскланялся.

Началось голосование по моей персоне. Я сидела ни жива ни мертва, сердце колотилось отчаянно — и, казалось бы, отчего? — ну, не выберут меня в академики, что изменится в моей жизни? — тем не менее волновалась бешено. Снова вынесли из-за ширмы два ларца. Черных шаров не оказалось вовсе. Я не верила своему счастью. А собравшиеся хлопали и улыбались.

Генералу Бецкому подали бумаги — протоколы голосования — и перо с чернильницей. Он их подписал и, поднявшись, провозгласил нас с Этьеном избранными академиками.

Первым ответное слово произнес Фальконе. Говорил по-французски. Поблагодарив академиков за оказанную честь, заявил, что счастлив находиться в России и внести свой посильный вклад в русскую монументалистику; вскоре, заключил он, будет им закончена модель памятника Петру в натуральную величину, и просил всех желающих посетить нашу мастерскую, чтобы выразить свое мнение, замечания и пожелания.

Наконец позволили выступить и мне. Я сказала по-русски:

— Господа, мадам и мсье, господин Президент! Не могу передать вам радость мою. Только себе представьте: стать первой женщиной-академиком — первой и в России, и во Франции! Женщин-художниц вообще мало, а уж скульпторов вовсе нет. Тем почетнее для меня это звание. Для меня, девушки из парижских низов. Мой отец был простым башмачником. Уважаемым, талантливым, но ремесленником. Не хотел, чтобы я училась рисованию. Только после его кончины и стараниями мадам Дидро я попала в мастерскую мэтра Лемуана, а затем и к Фальконе. Им спасибо большое за отличную школу и за то, кем я стала. Вознеслась из сапожной мастерской в академики, в круг внимания русской императрицы. Обещаю не посрамить доверия — и ея величества, и вашего.

Может быть, я сказала на самом деле не так гладко и красиво, как сейчас написала, а тем более что владела русским не совсем еще свободно, но по сути передала верно. Все мне хлопали и кивали доброжелательно.

А потом состоялся торжественный обед в нашу честь, где Бецкой присутствовал только в самом начале, а затем, сославшись на важные

дела во дворце, уехал. Без него стало непринужденнее и уютнее. Из предложенных русских блюд мне особенно понравилась сочная баранья котлетка с гречневой кашей. (Боже, я совсем становилась русской — полюбила рассыпчатую гречку!) На десерт давали кофе с бисквитами.

А в конце ко мне подошел скульптор Федор Гордеев — тот, что лепил для памятника Петра змею, — и, стеснясь, заикаясь, преподнес небольшую картину в золоченой рамке — мой портрет. Я расчувствовалась и, благодаря, попросила его разрешить мне обнять его по-братски. Он зарделся и сказал, что, наверное, в данных обстоятельствах вряд ли это уместно, и всего лишь поцеловал мне руку. Я сказала:

— Мэтр и я, мы теперь работаем над эскизом головы Петра, каждый порознь, чтобы выбрать потом лучший вариант.

Не дадите ли мне какой-нибудь совет? Очень меня обяжете, если заглянете в нашу мастерскую в самое ближайшее время.

Федор поклонился:

— Загляну непременно. Благодарен за честь, мадемуазель.

Так закончился этот дивный день.

4

А работы в Конной Лахте по зиме не только не прекратились, а наоборот, лишь ускорились. Почва на болоте промерзла, и по вырубленной просеке стало легче доставлять к месту будущей операции стройматериалы. Возводились казармы, избы, склады — для солдат и работников-землекопов, плотников, каменотесов. В то же самое время в Петербурге, в мастерских, где обычно отливали пушки и ядра к ним, начали изготавливать бронзовые шары и медные желоба для перемещения камня.

В первых числах марта (чуть ли не сразу после нашего избрания в академики) Фальконе умчался в Лахту, чтоб начать обтесывать камень. Дело в том, что валун по своей конфигурации находился вроде на боку — по сравнению с тем, как он должен был впоследствии встать под памятник; а поэтому представлялось разумным в этом положении обтесать его будущее основание, прежде чем скалу перевалят на

транспортировочную платформу. И вначале дело шло отлично, по намеченному плану, но внезапно вмешался Бецкой: передал через де Ласкари, что императрица запрещает любые каменотесные работы до доставки валуна в Петербург. Слава Богу, что успели выровнять хотя бы будущее основание.

Вскоре была готова и платформа. Укрепили ее вбитыми в почву столбами, подвели брусья-рычаги для переворота скалы. Все приготовления были готовы к 12 марта, и почти 400 рабочих и солдат стали рычагами с одной стороны раскачивать и толкать бок валуна, а с другой — обеспечивать этому движению устойчивость. Понемногу камень встал на естественное ребро, замер и со всей своей мощи опрокинулся обтесанным основанием на платформу. Фальконе рассказывал, что земля при этом даже вздрогнула. Но переворот совершился благополучно — будущий пьедестал не раскололся, брусья выдержали его тяжесть, и никто из мастеровых не пострадал.

Впрочем, это было только начало. Предстояла следующая операция — по бокам платформы установить несколько рядов винтов-домкратов, чтобы приподнять камень на платформе над землей, а затем подвести под него рельсы с желобами и шарами. Это заняло еще полмесяца. Надо было спешить: в мае земля оттаяет, что создаст трудности по перемещению тяжелой махины. Фальконе дневал и ночевал в Лахте.

Я же непосредственно занялась головой Петра. И отсутствие Этьена этому благоприятствовало: не хотела лепить при нем, он меня нервировал. Нужно было максимальное сосредоточение, полное погружение в тему. Ни к одной своей работе я не подходила с такой серьезностью. Вместе с тем и сугубой серьезности в воплощении образа царя не хотелось. Я стремилась передать его душевный порыв, вдохновение, может быть, некоторое безумие, без которого немислимы никакие великие дела; смелость, решительность во взгляде. Совмещение величавости и мальчишества. Словом, сделать его живым.

Пусть на самом деле был он слегка другой. Но художественный образ не есть слепок. Слепок мертв. Образ одухотворен.

Долго мучилась, делая графические наброски. И однажды ночью Петр мне приснился. Не живой, нет, в виде бюста. Вроде я его уже вылепила и стоит он на столе в мастерской — смотрит с вызовом, губы

сложены в насмешливую улыбку, усики топорщатся, и огромные, чуть навывкате глаза. Я проснулась посреди ночи и, накинув на плечи шерстяную шаль, как была, в ночной рубашке, бросилась в мастерскую. Заготовка головы у меня уже стояла, оставалось придать лицу то заветное выражение, что пригрезилось мне во сне. Я работала при свечах одержимо, обо всем ином позабыв. А когда закончила, рухнула на скамейку без сил. За окном теплился рассвет. В полумраке на меня смотрел Петр. С некоторой дерзостью вроде спрашивал: «Ну, довольна?» Захотелось придать последний штрих — подошла к его голове и чуть-чуть подправила зрачки: сделала их не округлыми, а в форме сердечек. Стали воплощением моей любви — к Фальконе, к России, к Петру...

Больше добавить было нечего.

Я вернулась к себе в комнату и упала в кровать.

5

Первым голову увидел Фонтен, появившись в мастерской утром. И стоял перед бюстом озадаченный. А потом недоверчиво спросил:

— Это ты или мэтр?

Я ответила боязливо:

— Я...

Александр подошел, обнял крепко и поцеловал в щеку.

— Что, прилично? — посмотрела на него снизу вверх.

— Хм, «прилично»! Это гениально!

— Ладно, будет тебе смеяться.

— Я и не смеюсь. Ты сама не понимаешь, что сделала. Бог тобою руководил, истинно, что Бог!

— Ты считаешь, что получилось?

— Глупая, этим портретом ты вошла в историю. Ты великолепна, Колло. И не зря я тебя люблю.

— Те-те-те! — погрозила пальчиком я. — У тебя жена.

Мой приятель поморщил нос:

— То жена, а то ты. Совершенно разные вещи.

В тот же день в мастерскую на огонек заглянул Гордеев. Я его подвела к голове Петра. Посмотрев, Федор даже вздрогнул. И

перекрестился. Прошептал:

— Натуральный Петр. Настоящий. Этот верно вздыбит вашего коня и помчится по Петербургу наводить порядок.

— Удался, значит?

— Ох, не то слово.

— Неужели без замечаний, пожеланий?

Он задумался. А потом ответил:

— Разве что одно. Чуть его состарить. Здесь, у вас, царь почти что вьюнош. Больно молодой. Надо чуть прибавить пухлости щекам и круги под глазами. Самую малость. Чтобы выглядел лет на сорок.

— Вероятно, да.

Наконец из Лахты вернулся Фальконе. Я дала ему отдохнуть с дороги, угостила ужином, уложила спать. И уже наутро повела в мастерскую — со словами, что закончила этюд головы. Шел он какой-то рассредоточенный, погруженный в себя, мысленно все еще находясь у Гром-камня. Подошел к Петру, бросил быстрый взгляд и замер. Неожиданно у него из глаз побежали слезы.

— Что, что? — испугалась я.

— Пресвятая Дева! — воскликнул мэтр. — Ты как будто бы прочла мои мысли. Именно таким я и видел русского царя. Видел, но не мог никак воплотить. — Обнял меня и поцеловал, измочив лицо слезами. — Девочка моя. Жизнь моя. Мы теперь с тобой едины во всем.

Не сдержавшись, я расплакалась тоже.

Так стояли мы и рыдали, обнявшись.

Два нелепых, вздорных человека, два француза посреди необъятной России...

В тот же день Этьен написал письмо императрице с просьбой разрешить показать ей голову Петра работы Колло. Двое суток спустя получил приглашение во дворец. Мы упаковали бюст в тряпки и картон, поместили в специально сколоченный ящик. Фальконе уехал в поданной карете. Я металась по дому, совершенно не находя себе места.

Мэтр возвратился счастливый, беззаботно-радостный. И поцеловал меня, даже не скинув шубу, запорошенную снегом. Произнес:

— Поздравляю, дорогая. Все прекрасно.

— Что она сказала?

— Что за эту работу назначает тебе пожизненную пенсию в десять тысяч ливров годовых.

Я от неожиданности даже села.

— Неужели? Не могу поверить. А тебе, Этьен?

Он скривил губы:

— Мне? Зачем? Мне вполне хватит гонорара за весь памятник. — Щелкнул пальцем мне по носу. — И вообще не думай. Главное — общая работа. Доведу большую модель к лету. Голову твою слегка увеличу — ведь она меньше по размерам, чем нужно. И Гордеев верно подметил — чуть состарю. Это уже детали. Основное сделано, одобрение Екатерины получено. Пусть Бецкой попробует помешать!

Но Бецкой был не так-то прост. Придирался к нам на каждом шагу.

6

Получила письмо от брата из Парижа. Вот что он писал:

«Дорогая сестричка, золотая моя Мари! Извини за мое долгое молчание, но оно вполне оправдано теми обстоятельствами, о которых я сейчас расскажу. Жenuшка моя, милая Луиза, в коей я души не чаю, оказалась беременна, и переносила тягость сию очень тяжело, мы боялись выкидыша, и последние три месяца не давали ей вставать с постели, наняли сиделку. Вечером 13 марта начались схватки, я стонал, как раненый зверь, и молил Бога о спасении матери и младенца; Бог услышал мои молитвы — в 3 часа утра 14 марта появился на свет замечательный мальчик, очень похожий на тебя. Состояние же Луизы было вначале непростое, потеряла много крови, но стараниями докторов постепенно все пришло в норму, и она уже выходит на улицу, чтобы прогуляться с маленьким в коляске. И на днях окрестили малыша — получил имя Марк. Поздравляю тебя — новоиспеченную тетушку!

Паренек живой, жизнерадостный, много улыбается, кушает прекрасно. Мы с Луизой не нарадуемся, глядя на него.

Остальные дела у нас тоже более-менее хороши. Магазин мсье Кошона процветает, и мы с ним. Правда, он прихварывает в

последнее время, все заботы переложил на меня, я теперь его правая рука, но не жалею, мне работа сия по нраву, да и денежки неплохие, а теперь денег надо больше, чтобы Марку нас ни в чем не нуждался.

Низкий тебе поклон от Луизы и ее сестры Маргариты (у нее уже завелся жених, и, наверное, скоро будет свадьба — я тебе напишу потом отдельно).

Ждем, когда вернешься домой — очень соскучился, приезжай скорее.

Твой братец Жан-Жак

Р. С. Своему брату Александру о рождении нашего сына, а его племянника, написала Луиза сама, так что он, наверное, уже в курсе. Выпейте вдвоем за здоровье нового члена нашего семейства. Крепко вас целую!»

Я на радостях бросилась к Фонтену и застала его в отвратительном расположении духа. Оказалось, что накануне он поссорился со своей супругой. О причинах не говорил, просто сидел, схватившись за голову, и причитал: «Ох, какая дура! Ох, какая же она дура!» Попыталась переключить его внимание на парижские дела. Он не знал о племяннике, так как месяц уже не заглядывал на почту. Сразу повеселел и сказал: «Ну, хоть кто-то в нашем мире счастлив. Рад за них». Мы пошли на почту вдвоем, там действительно ждало его письмо от Луизы. Прочитав послание, Александр повеселел еще больше, сообщив мне кое-какие подробности, о которых не удосужился написать Жан-Жак. Как то: братец мой выкупил у мсье Кошона наш старый дом, произвел там ремонт и вернул на первый этаж обувную мастерскую, на втором же разместился сам с женой, сыном и Маргаритой. А жених у Марго учится в Сорбонне, вольтерьянец, масон, радикальных взглядов, ратует за конституционную монархию, как в Великобритании. «Как бы не посадили его в Бастилию за такую крамолу», — высказалась я. А Фонтен ответил: «Было б хорошо, если б посадили — нечего сестренке знаться с этими вольнодумцами». Мы зашли в Кофейный дом, где спиртные напитки, правда, не подавались, но зато с удовольствием выпили за здоровье нового родича шоколаду и заели кренделем. На прощанье Фонтен проговорил:

— Глупая ты, Мари, что не вышла за меня. И себе судьбу поломала, и мне. Мы бы были счастливы.

Я спросила:

— Разве ты не счастлив теперь?

Он отвел глаза:

— В чем-то счастлив, а в чем-то наоборот. Тупость ее меня бесит.

— Русские говорят: стерпится — слюбится.

— Может быть.

А зато Фальконе получил письмо от сына из Лондона. Тот опять просил денег и спрашивал, не нужны ли художники-портретисты в Петербурге — он бы с радостью бросил Туманный Альбион и приехал в Россию, если бы смог начать зарабатывать как следует. Мне Этьен сказал: «Только Пьера мне сейчас не хватало. Если он приедет сюда со своими заботами, я вообще с ума сойду». Денег выслал и написал, что у нас тут русских портретистов как собак нерезаных и составить им конкуренцию очень сложно. Видимо, Фальконе-младший удовлетворился ответом, потому что долгое время больше не писал.

После невероятных усилий Гром-камень приподняли на винтах-домкратах, подвели под его платформу рельсы с желобами и шарами. Медленно опустили и попробовали сдвинуть с места. Человек сто тянули его спереди, столько же толкали сзади и удерживали, направляли брусьями по бокам. Деревянные части потрескивали, то и дело норовя лопнуть, тем не менее глыба медленно покатила, вроде бы смирившись со своей участью. Я сама в Лахте не была, это мне рассказывал Фальконе во всех подробностях. Говорил, что в первый день удалось подвинуть махину всего на полсажени.

Вскоре пошли дожди, почва начала раскисать. И поэтому все работы были брошены на укрепление пути. На неровной местности сглаживали рытвины и пригорки, на болотистой — засыпали песок и вбивали в грунт бревна, вдоль дороги выкапывали канавы для отвода воды, насыпали брустверы, а ручей перекрыли каменным мостом. Тем не менее будущий постамент до конца лета простоял на месте, и движение началось только к ноябрю. К новому, 1770 году он проехал в общей сложности не более 200 саженей, а еще, до залива, оставалось 3 тысячи саженей с гаком^[5]. Но зимой, по замерзшему грунту, дело

заспорилось, и особенно с февраля по март, так что к весенней распутице наш валун благополучно прибыл на берег моря.

В середине марта посмотреть на это грандиозное зрелище прибыла императрица со свитой. Пояснения ей давал Бецкой.

Я и Фальконе приехали тоже. Вид на залив открывался замечательный: море темно-серое, с небольшими волнами, и рыбацкие лодки там и сям; берег в елях, очень высоких, гибких, словно бы тростинки; посреди леса просека, а по ней из чащи медленно выползает серо-коричневая глыба камня. Тянут его канаты, наматывающиеся на огромный горизонтальный ворот, ручки которого двигают несколько десятков людей. Кто-то подкладывает деревянные рельсы, кто-то шары, сзади валуна — бревна-подпорки. А на валуне сверху — два барабанщика отбивают ритм, согласовывая тем самым действия всех сторон. Здесь же, на берегу — два обломка Гром-камня, отколовшиеся от него при ударе молнии, — их приволокли раньше, так как они легче.

Государыня спросила у Фальконе:

— А обломки эти зачем?

Поклонившись, он ответил:

— Видите ли, ваше величество, основной массив камня закругленный и почти яйцевидной формы; по моей же задумке, пьедестал представляет собой закипевшую морскую волну. Мы приставим оба куска спереди и сзади, создавая нужное впечатление.

— Хорошо, — сказал императрица. — Только много обтесывать нельзя — глупо уменьшать такое чудо природы.

— Много и не будем, — согласился мэтр. — Но чуть-чуть придется. Для придания нужной конфигурации, а еще чтобы постамент зрительно не довлел над фигурой царя и лошадью. Если постамент будет выглядеть чересчур большим, конь и Петр потеряют свою значительность и покажутся смехотворно маленькими.

— Понимаю, да. Но тогда, быть может, увеличить сам памятник?

— Невозможно, ваше величество. Мы нашли оптимальные размеры, чтобы ветер его не опрокинул. Есть в механике такой термин — эффект парусности. На открытом пространстве Сенатской площади, да еще около Невы, сила ветра достигает огромных величин. Надо учитывать законы физики.

Против физики даже Екатерина II была бессильна.

Улыбнувшись мне, государыня сказала:

— Вы все хорошеете, милое дитя. Делаете успехи. Ваш этюд головы Петра Первого произвел на нас глубокое впечатление. Вундербар! ^[6]

Я присела в полупоклоне.

— У меня для вас будет еще задание. Но об этом позже. Будьте здоровы! — И покинула меня, взяв Бецкого под руку.

Вскоре она со свитой удалилась на мызу Григория Орлова, а Этьен и я долго еще рассматривали Гром-камень со всех сторон, фантазируя, что и как надо в нем скорректировать.

Словом, к апрелю 1770 года будущий постамент замер на берегу в ожидании баржи. А она только начинала строиться...

8

Гипсовую модель Фальконе завершил еще летом 1769 года и готов был выставить на всеобщее обсуждение, но Бецкой тянул, занимаясь другими своими неотложными делами, а императрицу тоже отвлекали — то война с Турцией, то переговоры с Пруссией о разделе Речи Посполитой (то есть Польши и Западной Малороссии) — это я читала в русских газетах. В общем, ему и ей было не до нас. Наша работа буксовала. Я по заданию Екатерины II делала бюсты французского короля Генриха IV и его министра финансов герцога де Сюлли (разумеется, по портретам, так как жили они почти что за двести лет до нас) и возила их государыне в Царское Село. Фальконе же, если не пропадал в Лахте, то занимался строительством литейной мастерской. Вместе с Фельтоном они рассчитали, что для устойчивости памятника нужно укрепить место на Сенатской площади 75–80 сваями, вбитыми в грунт. После долгой переписки с Бецким были приглашены рабочие, общим числом не меньше 300, но трудились они медленно, без особого рвения, и возня с ними растянулась чуть ли не на два месяца.

Осенью я болела — сильно простудилась, выпив по беспечности холодной воды, и потом никак не могла вылечить горло; без конца кашляла — даже опасалась чахотки, но, по счастью, как-то обошлось; постепенно вернулась в свое обычное состояние. Раз два были с Фальконе в театре, но ему, плохо понимавшему разговорную русскую

речь, было скучно, а ходить мне одной, незамужней даме, по тогдашним представлениям, выглядело бы верхом неприличия.

Накануне Рождества 1769 года прибежал Фонтен с горящими глазами: Анна беременна, и малыш, по расчетам, должен появиться в мае. Рождество мы справляли без них — Анне нездоровилось, мать была при ней, Александр тоже, а у нас в гостях — Федор Гордеев с молодой женой и художник Лосенко, рисовавший гипсовую модель памятника Петру по заданию Бецкого. Этот Лосенко был человеком молчаливым и сильно пьющим, но ценил Фальконе и весной в Академии проголосовал за него; в молодости он учился во Франции, даже имел большую золотую медаль от французской Академии за картину «Жертвоприношение Авраама». А на Рождество, крепко выпив, попытался за мной ухаживать, но потом сломался и заснул богатырским сном у нас на диване в мастерской.

Словом, гипсовую модель выставили на суд петербуржцев только 19 мая 1770 года. Объявление дали в газетах, и буквально толпы горожан потянулись к нам. Власти даже прислали конную полицию — наблюдать за порядком. Но что поразительно: люди приходили, молча осматривали монумент, иногда шушукались между собой и, ни слова не говоря автору, молча уходили. Фальконе был в панике, он считал свое детище забракованным. Но Гордеев развеял его сомнения: «Ах, мсье Этьен, вы не знаете наших нравов. Это север, это Россия. Положительные эмоции держат при себе. Если они молчат, значит, все в порядке. Главное, чтоб не освистали и не забросали тухлыми яйцами». Тухлых яиц не было действительно. Правда, некий господин средних лет неожиданно начал прилюдно возмущаться одеждой императора. Воздевал руки к небу: почему Петр в русской одежде, если ратовал за европейскую? Почему на голове его лавровый венок — разве царь в таком ходил? Почему самодержец в усах? Фальконе, потрясенный, попытался при моем посредничестве (в качестве переводчика) объяснить ему, что одежда вовсе не русская и не древнеримская, а вообще условная; что в лавровых венках большинство героев на статуях; что великий властелин вправду носил усы. Но оратор не унимался: он сказал, что уже готова петиция от полтысячи дворян Петербурга с требованием запретить эту статую, а ее создателя выслать из России как мерзавца, покусившегося на святое. Вскоре полиция выяснила, что фамилия господина — Яковлев,

он известный городской сумасшедший, выгнанный со службы за неадекватность и с тех пор поносящий все, что ни попадется ему под руку. Мы вздохнули с облегчением, но рано: стало известно мнение прокурора священного Синода, возмущенного тем, что Петр и его лошадь в два раза больше оригинала; и вообще как можно было доверять ваяние православного государя католику; пусть бы и католику, но вначале должен был получить благословение священного Синода. Мы не знали, как нам реагировать, если бы не письмо от Екатерины II. В нем она успокаивала мастера, говорила, что в целом памятник нашел одобрение в Петербурге, в том числе и в Академии художеств, знающие люди поддержали идею и ее воплощение, а на вздорные придирки обращать внимание глупо. После этой оценки нам сразу полегчало.

Кое-кто предлагал одеть Петра в латы, как на памятнике Растрелли. Фальконе возражал: Петр в жизни не носил лат, даже в бою, и потом в латах он бы выглядел только воином, а сейчас его фигура олицетворяет весь широкий спектр деятельности императора.

Некоторые считали, что величина головы не соответствует величине тела и ног в частности. Некоторые спрашивали, почему пальцы протянутой руки широко расставлены и не лучше ли их сомкнуть? И так далее.

Заглянул к нам Клод Мишель, у которого мы жили первое время в Петербурге. Обнял Фальконе как старого приятеля и сказал, что прежние недоразумения забыты, памятником он восхищен и сочтет за честь, если мы придем к нему отобедать. «Дети вас помнят, — говорил торговец фарфором, — и особенно вспоминает Симона. Добрые люди не должны сердиться друг на друга». Мы обещали не сердиться.

Посетили нашу мастерскую представители иностранных миссий, и недавно назначенный новый французский посол мсье Сабатье де Кабр (мсье Рокфора отозвали на родину) выразил Этьену полное свое одобрение увиденным, прежде всего за простоту и лаконизм в решении образа царя; говорил, что нигде в Европе нет другого такого же вдохновенного памятника. В общем, пролил бальзам на раны моего шефа.

В то же время Екатерина II создала комиссию по приемке модели памятника: разумеется, во главе с Бецким; а еще туда вошли портретист ее величества Дмитрий Левицкий и известный меценат,

коллекционер живописи Александр Строганов. На одном из заседаний Фальконе предложил написать на монументе: *Petro Primo Catharina Secunda — Петру Первому Екатерина Вторая*. Это тоже было принято во внимание, и вердикт комиссии вынесен однозначный: памятник отливать и строить так, как задумал автор. Мы сияли от счастья.

А 30 мая к нам ввалился полупьяный Фонтен и на наше недоумение заплетающимся языком объявил, что сегодня утром он сделался отцом. Анна родила девочку. Мать и дитя в порядке. Александр на седьмом небе.

Мы его поздравили и расцеловали. А Филипп, превратившийся тем самым в номинального дедушку, отчего также был немало взволнован, быстро принес вино и рюмки, предложив выпить за здоровье новорожденной. Что мы и сделали. Вскоре слуга и прилично подгулявший новоявленный папаша удалились в ночь с целью продолжения празднества. Мы не видели их три дня.

А тем временем развернулись работы по постройке причалов — в Лахте, где Гром-камень надо было грузить на баржу, и вблизи Исаакиевского моста в Петербурге, где валун следовало сгружать.

В Лахте прокладывали подъезд к воде и монтировали пирс, что тянулся до глубины моря (забивали сваи, укрепляли балками), а покатое дно Невы около Сенатской площади следовало выровнять, приподнять, укрепить тоже сваями. Я ходила на набережную смотреть, как их забивают: на высокой треноге был подвешен многопудовый молот, и рабочие тянули его за веревки вверх, а потом резко отпускали, — падая, он и бил в сваю сверху. Уходила в грунт она медленно, напряжение людей выходило за всякие разумные пределы, и к тому же молот иногда срывался и калечил строителей (слава Богу, на моих глазах не случилось такого). Рядом, на площади, строили сарай-ангар для камня.

Между тем моряки на шлюпках рыскали по мелководью Финского залива с целью обнаружить более глубокие места, где и можно было проложить фарватер для баржи, ставили сигнальные буи и заметные вешки. А на верфи Адмиралтейства строили саму баржу. Вот ее

примерные размеры: около 190 футов длины, около 70 ширины, высота — 11, а осадка с грузом предусматривалась не менее 7^[7]. На воду ее спустили в августе 1770 года, отбуксировав затем к пристани в Лахте.

Адмирал Мордвинов по указу императрицы (при посредничестве Бецкого) предназначил для сопровождения груза парусные суда «Святой апостол Марк» и «Екатерина». Операция началась в конце августа.

Баржу затопили, а ее бортник разобрали, чтобы камень спокойно протащить на специальное помостье. Наконец-то валун возобновил движение по берегу, непосредственно к воде, все на тех же рельсах и шарах. А когда он оказался посреди баржи, воду из нее откачали, и она благополучно всплыла, всем являя чудо-камень на своем борту.

Операцией командовал капитан-лейтенант Лавров — предстояло проплыть от Лахты до Исаакия ровно 12 верст^[8]. Опасались волнения волн и сильного ветра, но, как будто по воле Неба, море стояло тихое, ветер дул, но только в паруса кораблей сопровождения. Камень на барже, укрепленный со всех сторон балками, не спеша вошел в Невку, а потом и в Неву. На балконе Зимнего дворца показалась императрица и, увидев гранитного исполина, помахала ему платочком. В загустевших сумерках капитан-лейтенант Лавров доложил адмиралу Мордвинову о прибытии груза к Исаакиевской пристани.

26 сентября мы все — Фальконе, я, Фонтен, наши домоправители и Филипп — наблюдали за процессом разгрузки камня. Баржу затопили — и она легла на вбитые в дно сваи. А валун оказался вровень с набережной. Проложили деревянные рельсы с медными шарами. Многочисленные работники стали тянуть скалу канатами. Медленно она переместилась с судна на сушу и по рельсам въехала в сарай-ангар. Вся толпа дружно зааплодировала, а работники, утирая пот с лица, весело улыбались. Так благополучно закончилась эпопея с перевозкой Гром-камня. Государыня велела отчеканить специальную медаль с надписью «Дерзновению подобно» и вручить ее всем участникам операции. Кроме того, командиры и начальники получили по 500 рублей, а простые матросы и рабочие — вдоволь вина и пива.

Предстояла теперь обтеска камня, укрепление его на месте установки и соединение спереди и сзади с дополнительными фрагментами.

Но мое внимание было тогда отвлечено неожиданным известием. Посетила доктора, жалуясь на недомогание, и узнала, что опять жду ребенка. Пресвятая Дева! словно не касаясь земли, побежала (полетела?) к Этьену. Но реакция его оказалась более чем сдержанной. Он, конечно, обнял меня и поцеловал, а потом вздохнул:

— Столько забот сразу навалилось! Сможем ли мы справиться со всеми?

Я ему ответила:

— Без меня бы не справился. А вдвоем мы не то что Гром-камень — горы свернуть можем!

Фальконе прижал меня крепче, только вновь тяжело вздохнул.

Глава восьмая

«ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ?» — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

1

А война с Турцией шла вовсю, летом 1770 года состоялось знаменитое Чесменское морское сражение, увенчавшееся победой русских. И на суше турки терпели поражение за поражением. Для переговоров с ними о мире был отправлен сам Григорий Орлов, но повел себя он недипломатично, чуть ли не надавав своим оппонентам по физиономии. И Екатерина его отозвала. С этого момента понемногу звезда фаворита начала закатываться. Говорили, что Орлов от переживаний тронулся умом, и его послали на лечение за границу. А ему на смену появился другой Григорий — Потемкин. Но об этом чуть позже.

У Бецкого тоже было много хлопот — Академия художеств и Шляхетский корпус (где он числился шефом), и, конечно, Смольный институт благородных девиц с Мещанским училищем, и еще Воспитательные дома в Москве и Петербурге. Памятником Петру совершенно не занимался.

А работа над монументом между тем буксовала: нужно было думать об отливке, и посланники России по всей Европе начали разыскивать мастеров-литейщиков. Наконец, граф Шувалов заключил в Риме контракт с некими чеканщиками Гаэтано Мерки и Карло Ришером: те приехали в Петербург поздней осенью 1770 года.

Фальконе эта парочка сразу не понравилась: первый — грубиян и наглец, этаким верзила с бычьей шеей, а второй маленький и юркий — судя по всему, подмастерье: по работе и в постели. И к тому же, как выяснилось, отливать они не умели — только чеканить и обтачивать готовое литье. Поругавшись со всеми, итальянцы вскоре уехали.

По рекомендации князя Голицына (он уже переехал из Парижа в Гаагу — стал посланником России в Нидерландах), в Петербург

пожаловал известный литейщик Бенуа Эрсман. Он был художав (если не сказать «тощ») и все время сморкался в необъятных размеров носовой платок. Обещал отлить памятник за год и потребовал гонорар в 140 тысяч ливров (это при том, что Этьену за 8 лет работы обещали 200). Но причиной размолвки сделались не деньги, а технические противоречия: Фальконе настаивал, чтобы грудь и голова лошади были при отливке тоньше, чем круп и задние ноги — для устойчивости, а литейщик утверждал, что такое невозможно в принципе. Словом, не столковавшись, мастер уехал восвояси, правда, оставив одного из своих помощников — Поммеля. Но рассказ о нем еще впереди.

Наконец, из Копенгагена прибыл литейщик Гоор. Он как раз брался сделать стенки спереди тоньше, но просил за работу 400 тысяч. И Бецкой, и Фальконе вытолкали его в шею.

Ситуация складывалась патовая. Мэтр был в отчаянии, а Бецкой негодовал, опасаясь гнева ее величества. Наконец, он вызвал к себе Этьена для серьезного разговора. Я, понятное дело, не присутствовала при сем и могу воспроизвести их диалоги лишь со слов Фальконе. Вот примерно как это происходило (разумеется, на французском языке).

БЕЦКОЙ. Проходите, мсье Этьен, рад вас видеть у себя дома. Я живу один, лишь со слугами только. Не нашел в жизни ту, с кем бы захотел пойти под венец.

ФАЛЬКОНЕ. А вот эта молодая особа, что встречала меня внизу? Очень привлекательна. Сразу видно — азиатская кровь.

БЕЦКОЙ. Да, она наполовину черкешенка. Сирота. Я ее взял в свое время на воспитание, относясь по-отцовски. И теперь на ней мое домашнее хозяйство, исполняет обязанности экономки. Нет-нет, вы о чем подумали? Все почему-то так думают. Где она и где я! Только попечительская забота.

ФАЛЬКОНЕ. Как вам будет угодно, мсье.

БЕЦКОЙ. В кабинет не пойдем, выйдет слишком официально. Сядем в библиотеке. Даша нам заварит кофе... (*Отдает распоряжение.*) Милости прошу. Разговор предстоит нелегкий. Что поделаешь, время принимать кардинальные решения. А иначе наша история с памятником Петру может оказаться глупой авантюрой. Допустить этого нельзя. Пейте, пейте. Вот бисквиты, вот конфеты, угощайтесь, пожалуйста. Ну, так что вы думаете об отливке, мсье Этьен?

ФАЛЬКОНЕ. Думаю, а не подыскать ли мастера здесь, в России? Я бывал на Пушечном дворе — наблюдал, как они отливали бронзовые шары для Гром-камня. Видел, как льются пушки. Очень, очень искусно.

БЕЦКОЙ. Пушки и шары — все-таки не статуя.

ФАЛЬКОНЕ. Думаю, дистанция небольшая, Иван Иванович. Если вначале попробуют лить небольшие модели, то затем смогут перейти к главному. Отчеканить и отшлифовать готовую статую не так сложно.

БЕЦКОЙ. Я бы согласился на русских мастеров при одном условии. Если вы возьмете на себя общее руководство по отливке.

ФАЛЬКОНЕ. Я? Помилуйте! Как смогу руководить, если сам профан в этой области? Все мои работы до сих пор были из глины, гипса, мрамора или фарфора. Никогда не занимался литьем.

БЕЦКОЙ. Как вам кофе? Получаем из Абиссинии. Раньше получали из Турции, но теперь — сами понимаете... Лично я чай предпочитаю, из самовара. Совершенно не кофеман, в отличие от ее величества. Но могу выпить чашечку на десерт.

ФАЛЬКОНЕ. Я тоже кофе люблю, но и чай люблю, а в России любил квас.

БЕЦКОЙ *(смеется)*. Ах, квасной вы наш парижанин!.. Ну, тогда тем более сам Бог велел вам возглавить русских мастеров: ведь они же без кваса не могут обойтись! *(Хохочет.)*

ФАЛЬКОНЕ. Нет, не знаю, право, как решиться. Чтобы возглавить мастеров, надо самому разбираться во всех тонкостях совершаемого процесса, а иначе авторитета не будет, уважать не станут, за глаза начнут зубоскалить.

БЕЦКОЙ. Постигайте тонкости — что мешает? Почитайте книжки, ходите на Пушечный двор, поучаствуйте в их литье. Ведь не мне вас учить.

ФАЛЬКОНЕ. Да, но время, время! Сколько времени уйдет на мое обучение?

БЕЦКОЙ. А теперь, бездействуя, лучше разве? Сколько времени уйдет на попытки найти новых европейских литейщиков? Да и денег, честно говоря, жалко: наши сделают в два раза дешевле.

ФАЛЬКОНЕ. А смогу ли уложиться до семьдесят четвертого года?

БЕЦКОЙ. Отчего до четвертого?

ФАЛЬКОНЕ. Мой контракт — на восемь лет. В семьдесят четвертом должен завершить памятник и уехать во Францию.

БЕЦКОЙ. Ах, оставьте эти формальности, мсье Этьен! Надо будет — продлим контракт. И потом неужели же вы за оставшиеся три с половиной года не успеете? Год на обучение вас и мастеров, года полтора на отливку, год на чеканку и установку. Непременно успеете.

ФАЛЬКОНЕ. Я в смятении, Иван Иванович. Как говорят русские, вы меня огорошили.

БЕЦКОЙ *(смеется)*. Ха-ха-ха, огорошенный француз! Хорошо, подумайте над моим предложением. Кстати, ее величество знает о нем и поддерживает его. В случае вашего согласия разрешила выделить вам дополнительно восемьдесят тысяч ливров к уже заявленным двумстам. Пусть эти сведения станут для вас лишним аргументом. *(Оба поднимаются.)* Нынче вторник — жду вашего решения к пятнице.

ФАЛЬКОНЕ. Да, обдумаю все как следует. До свиданья, мсье.

БЕЦКОЙ. Был весьма рад побеседовать с дельным человеком. До свиданья, мсье.

Мэтр вернулся от генерала озабоченный, озадаченный, погруженный в свои мысли. Рассказав о состоявшемся разговоре, высказав сомнения, между тем добавил:

— Но с другой стороны, я смогу полностью воплотить все свои наработки. Никого не придется уговаривать, убеждать в моей правоте — сам себе хозяин. Пусть не с первой попытки — отолью так, как хочется.

Я ответила, что полностью с ним согласна, а Фонтен и помощник Эрсмана — Поммель — тоже нам помогут в меру своих сил.

Словом, в четверг на той же неделе Фальконе написал Бецкому, что согласен на предложенные условия. Он и я, мы не представляли еще, что за трудности ждут нас впереди.

Много времени по-прежнему отнимал Гром-камень. На Сенатской площади в сарае-ангаре шли работы по его обтеске. Возглавлял их Фонтен — как искусный резчик, — разумеется, под присмотром мэтра.

Нужно было сделать так, чтобы оставалось впечатление дикой, натуральной скалы огромных размеров, но при этом основание не давило бы зрительно на саму статую. Фальконе часто повторял: «Пьедестал делается для памятника, а не памятник для пьедестала». И всегда нервничал, если его просили (а Бецкой практически в приказной форме) отсекать по минимуму. Но Этьен не был бы Этьеном, если бы не мог настаивать на своем, пробиваться, как таран, к намеченной цели, не взирая на глупые мнения окружающих. Для него работа находилась всегда на первом месте. Быт, любовь, семья — он о них не думал или, может, думал, но в последнюю очередь. И меня любил, конечно, но, по-моему, памятник Петру для него был главнее — и меня, и нашего будущего ребенка.

Я переносила беременность в целом хорошо, тошнота, свойственная первым месяцам, вскоре прошла, и врачи, наблюдавшие меня, говорили: все идет своим чередом. Иногда заходила в храм (а точнее, в зал, где отец Жером вел католические службы) и молилась у статуи Пресвятой Богородицы — я просила у Нее милости, помощи в появлении малыша. Думала назвать его, если родится мальчик, Полем, если девочка — Катрин. И надеялась, что ее величество не откажет мне стать восприемницей своей тезки, или его высочество Павел Петрович — своего, даже пускай заочно, без присутствия на крещении.

Но, как видно, Дева Мария гневалась на меня за что-то. Может быть, за то, что мы с Этьеном были не повенчаны? И фактически жили во грехе?

По расчетам, роды должны были случиться в январе 1771 года. И уже в ноябре доктор слышал в стетоскоп сердцебиение младенца. А потом, ближе к Рождеству, вдруг сказал, что не слышит. Как же так? Быть того не может! Плод еще накануне ворочался и толкался в животе! Начались срочные обследования, даже собирали консилиум. Вывод: надо делать кесарево сечение. Если ребенок жив, пусть родится семимесячным, выходить таких удастся. Если плод замер, то тем более надо спасти организм матери.

Операция прошла 21 декабря. Было очень больно и страшно. Я теряла сознание несколько раз, но меня приводили в чувство. Маленького мальчика извлекли быстро, а заставить его дышать не

сумели — он, скорее всего, умер еще в утробе. Господи, помилуй! Чувствовала муки нестерпимые.

Провела потом в постели и Рождество, и Крещение, начала подниматься только в феврале. Швы срастались плохо, было нагноение, новая операция... В результате я все-таки поправилась, но врачи сказали, что, по-видимому, больше детей мне иметь не суждено — слишком большие травмы матки...

3

Емельяна Хайлова я впервые увидела в марте или апреле 1771 года — он пришел в нашу мастерскую, чтоб увидеть гипсовую модель памятника не глазами зрителя, как год назад, а глазами будущего отливщика.

Вот его портрет: небольшого роста крепкий мужичок, волосы и борода рыжевато-сивые, а глаза зеленые. Настоящий русский богатырь из фольклора. Изумительной белизны зубы (не курил), правда, голос глуховатый.

Был потомственный литейщик: Михаил Хайлов, его отец, почитался одним из лучших мастеров Монетного двора. Сын же пошел в литейщики Арсенала. Назывался «сверлильных дел мастер» — мог филигранно высверливать жерла пушек. Мастеров на Пушечном дворе было только два — и один из них Хайлов, под его началом трудились 350 человек мастеровых. Лет имел примерно пятьдесят. Я потом познакомилась и с его женой, славной женщиной такого же возраста, а детей им Бог не дал.

Усадили его за стол, угостили обедом. Ел он неторопливо, как и всё, что ни делал, с осознанием собственного достоинства и силы, вроде говоря: да, мы из простых, но не лыком шиты, цену себе знаем.

Разговор, конечно, зашел о будущей работе. Емельян (это русский аналог французского Эмиля) так сказал:

— Помещение для отливки стоят неверно. Без предосторожностей. Иногда от расплавленного металла лопаются патрубки. Ежели такое случится, бронза хлынет литейщикам под ноги, перегубит всех. Надо делать защитные бортики. И рецепт бронзы подбирать особо. Ведь должен стоять не одно столетие. Непогода, снег,

дождь, летом — солнце. Об усталости металла подумать. Тут работ непочатый край.

Долго потом обсуждал с Фальконе. И они договорились посещать друг друга чуть ли не ежедневно — мэтр станет ходить на Пушечный двор для участия в отливке орудий, Хайлов — к нам, на строительство литейной мастерской и на опыты по созданию нужного сплава. Привлекли Поммеля — он ходил в подмастерьях у Эрсмана и имел определенные навыки литейщика.

Шарль Поммель представлял собой человека флегматичного и невозмутимого. Выше среднего роста, полный, розовощекий, как наливное яблочко^[9], и с чудовищным аппетитом. Ел безостановочно. Поглощал такое количество продуктов, что один обеспечивал выручку съестной лавки. А наевшись, спал. Это было перманентное его состояние; сон — еда — сон. Но советы по отливке давал дельные.

Он почти сразу подружился с Фонтеном. Уж не знаю, на какой почве они сошлись (Александр — не любитель ни есть, ни спать), но нашли друг друга, часто играли в карты или шахматы, а в субботу вечером вместе пили пиво. Шарль без конца заглядывал в гости к Фонтенам и играл с маленькой Николь, их любимое развлечение было такое: подмастерье, встав на четвереньки, подставлял спину девочке, а она садилась на Поммеля верхом, как на пони, и они скакали по комнатам с диким посвистом и ржанием, попадаясь под ноги всем, проходившим мимо. А потом катались по полу от смеха.

Мне однажды показалось, что подручный Эрсмана пялится на Анну Фонтен. И сказала об этом Александру. Он же только смеялся: «Шарль? Соперник? Брось, не фантазируй. Он такой увалень. Добрый малый, о любовных утехах вообще не думает. У него один порок — чревоугодие». Я вздохнула: «Ну, смотри, смотри. Дело мое — предупредить».

Новые заботы навалились на нас: летом 1771 года вспыхнула в Москве и окрестностях эпидемия чумы. Сообщение со столицами практически прервалось: с юга в Петербург не пускали ни конных, ни пеших, чтобы предотвратить расползание болезни. Двор Екатерины, как обычно, находился в Царском Селе, и кордоны там поставили еще строже. Разрешалось проезжать лишь проверенным правительственным курьерам. Слухи ходили страшные: о десятках, сотнях умерших, о паническом бегстве из Москвы местного

начальства, о волнениях в народе, так как архиепископ запрещал массовые молебны, опасаясь распространения заразы, и восставшие вроде его убили. Видимо, чума перекинулась в Россию из Бессарабии, с русско-турецкого фронта — первыми заболели и умерли офицеры, вернувшиеся с театра военных действий. Государыня послала на усмирение бунта войска. Вскоре зачинщики смуты были казнены, их приспешники разбежались. Эпидемия стихла где-то к осени. Из людей, известных мне, не смогло спастись целое семейство старшей сестры Натальи Степановны — после отставки мужа-генерала жили они в своем именье близ Москвы, от чумы не уехали и все погибли. У мадам Вернон был на почве этой трагедии нервный срыв, и она пришла в себя только заботами любящей дочери, зятя и Филиппа.

Но зато имелись и хорошие новости с фронта: русские взяли Крым (или, по-гречески, Тавриду), выгнав оттуда турок и лишив тем самым Османскую империю возможности безнаказанно нападать на южные волости России. Празднества прошли в Петербурге пышные.

Фальконе вместе с Хайловым перестраивал литейную мастерскую. Печь у них получилась мощная, с четырьмя отверстиями: первое — собственно, топка, два других для загрузки металла и четвертое — выпуск плавки. Плавка же по специальным трубам поступала в окопку — форму для отливки.

Технология вкратце предусматривалась такая: с окончательного варианта модели в натуральную величину делается гипсовый слепок (это задача формовщика). В углубление слепка заливается расплавленный воск. Скульптор и слесарь устанавливают металлическую арматуру, а формовщик на этот остов помещает гипс, заполненный воском. Оболочку снимают, и скульптура оказывается восковой. Скульптор ее подправляет, доводя до кондиции. Воск посыпается, облепляется особым огнеупорным порошком — он, застывая, превращается в отливочную форму (опоку). После чего в нее должны подавать расплавленную бронзу: сплав, вытапливая воск, заполняет его место, превращаясь, собственно, в статую. После остывания разбивается опока, и отлитый монумент остается только отчеканить и зачистить.

Хайлов брал на себя обязанности и формовщика, и литейщика. Поммель — на подхвате. Им обоим полагалось по 15 тысяч ливров, а Этьену как руководителю всей отливки и установки — 80.

Зимние холода помешали их работе — пробную отливку перенесли на весну 1772 года.

В Рождество к нам пришли письма из Парижа: и печальные, и хорошие вести. Собственно, печальная лишь одна — умер мсье Кошон. А поскольку у него не было ни семьи, ни детей, он завещал все свое имущество моему брату, относясь к нему как к родному сыну. Кроме приличного капитала, Жан-Жак получил солидную долю в магазинах обуви и наш прежний дом целиком. Младшая сестра Фонтена, Маргарита, вышла замуж и теперь с супругом занимает несколько комнат на втором этаже. Отношения у брата с зятем сложные; сам по себе человек образованный, достойный, тот горит идеями преобразования общества — если раньше выступал за конституционную монархию, то теперь пошел дальше и мечтает о республике; брат опасается, что сего бунтаря могут арестовать и бросить в Бастилию, а его семейство (ведь Марго на четвертом месяце) надо будет кормить Жан-Жаку. Кстати, Луиза тоже беременна, роды предполагаются в марте.

Фальконе и я получили общее письмо от Дидро. Он писал, что Екатерина II наконец-то добилась своего: вскоре состоится поездка нашего друга в Россию. Спрашивал, можно ли ему поселиться у нас? Мы ответили без задержек, что, конечно, будем очень рады, подготовим комнату и снабдим ее максимальными удобствами. Разумеется, государыня будет ему показывать Петербург, поведет политические, философские беседы, но насущные дела не позволят ей проводить все время с ученым, и в оставшиеся дни мы займемся им сами, вывезем на море, в Петергоф и прочее. Предстоящий визит Дидро очень нас порадовал, ждали его с нетерпением.

Осенью 1771 года ровно пять лет исполнилось, как мы прибыли в русскую Северную столицу. Собрались за общим столом и отметили этот небольшой юбилей. Фальконе, поднимая бокал с вином, так сказал:

— Господа, больше половины пути нашего в России пройдено. Можно подвести промежуточные итоги. Сделано не все, что хотелось, но уверен, что сделано главное: наш проект одобрен, утвержден и вступает в финальную стадию реализации — после отливки последует установка на постаменте, тот готов уже вполне. Мы должны уложиться

в три года, по контракту. Это вполне нам по силам. Выпьем же за успех нашего предприятия, за достойное его окончание!

В ходе празднества слово взял Поммель. Обведя нас глазами, произнес с улыбкой:

— Дорогие друзья! Я не мастер говорить красиво и скажу по-простому: почитаю за счастье жить и работать с вами. Увидав проект памятника Петру, сразу понял: это мировой шедевр. Уговаривал моего учителя Эрсмана задержаться, но когда тот уехал, я решил остаться в России. Чтобы быть причастным к великому делу. Разобьюсь в лепешку, но не подведу вас. И спасибо за доброту ко мне. Каждого люблю!

Ах, как внешность и речи человека бывают обманчивы! Мы тогда и предполагать не могли, что пригрели у себя на груди настоящего аспиды...

4

Чтобы совершить пробную отливку, Фальконе выбрал в качестве модели всем известную римскую статую — «Мальчик, вытаскивающий занозу», копии которой украшают чуть ли не все галереи мира, в том числе и Академии художеств в Петербурге. Мэтр испросил разрешения у Бецкого выполнить с нее слепок, а затем вместе с Хайловым перевел в воск. Вышло замечательно. После правок и доводок изготовили опоку и в один из летних дней 1772 года объявили, что будут отливать в бронзе. Власти приняли меры предосторожности: оцепили квартал, запасли емкости с водой, если вспыхнет пожар (все окрестные строения — деревянные), были наготове. Поммель начал плавку бронзы. А затем Хайлов разрешил заливать металл в форму. Трубы потрескивали, но держались. Из отверстий опоки вытекал и дымился расплавленный воск...

Наконец форма была заполнена целиком. Оставалось ждать затвердения бронзы. Все стояли разгоряченные, с красными от волнения и жара лицами. Хайлов вытирал тряпкой руки. В кожаном переднике, с обручем на голове (чтобы волосы не мешали), воплощал собой образ русского мастерового, очень колоритного, — я потом нарисовала его карандашом в альбоме по памяти.

Ближе к вечеру заключили, что металл застыл. Аккуратно разбили форму... Боже! Бронзовый мальчик явился нам во всей красе — цельный, без серьезных изъянов — зачищай и хоть завтра на выставку! Вздых облегчения вырвался у всех из груди. Улыбались, смеялись, поздравляли друг друга. Тут же Филипп принес вино...

Настоящая удача! Предстояло еще проанализировать все детали, кое-что уточнить и поправить в механизме печи, но проверено было главное — по такой методике можно и нужно отливать Петра. Превосходно справимся сами, без заезжих мастеров, дерущих втридорога.

Фальконе написал Бецкому и Екатерине. Но ответа не получил. Обратился к де Ласкари — в чем дело? Тот невнятно нёс какую-то чушь о внешней политике — вроде бы императрица занята войной с Турцией и разделом Польши, ей совсем не до памятника. Разве одно мешает другому? Но ответ неожиданно пришел от Гордеева, знавшего больше, чем мы: государыня занята предстоящей женитьбой Павла Петровича (вскоре должны привезти немецких принцесс), а еще на Урале некий беглый казак объявил себя якобы спасенным императором Петром III, и пошла на него охота. Тем не менее мэтр снова писал Бецкому — деньги нужны на бронзу, время поджимает, очень бы хотелось начать отливку и прочее, — но ответа вновь не получил. Более того: стали задерживать выплату обычного жалованья, де Ласкари вообще пропал, и до нас уже никому вроде не было дела. Фальконе в отчаянии излил свои обиды в письме, адресованном Дидро, тот в свою очередь сочинил филиппику государыне, и тогда только она откликнулась. Вот ее записка (на французском):

«Бонжур, мой любезный Фальконе, я Вас не забыла, не думайте, и не надо было ябедничать на меня мсье Дидро. Ситуация с финансами непростая, но задолженности мы Вам непременно покроем и на бронзу денег дадим, но не раньше будущего года, обещаю. Не сердитесь и наслаждайтесь жизнью. Неизменно Ваша — Екатерина».

Мы пребывали в изумлении. Денег нет на бронзу и наше содержание? У такой великой державы? Но откуда-то деньги были — например, на празднование 18-летия наследника, Павла Петровича: бал закатали в сентябре 1772 года, и на нем присутствовала вся столичная знать, и еды, и питья наготовили чуть ли не на весь город;

вечером давали фейерверки, по Неве катались на лодках... Даже нас пригласили в один из дней (а всего торжество продолжалось неделю), удостоили приложиться к ручке и приветливо одарили улыбкой. Павел не походил на мать совершенно: небольшого роста, с головой тыковой и вздернутым носом; он при разговоре размахивал руками и артикулировал так мощно, что слюна порой попадала в собеседника; пахло у него изо рта не лучшим образом, что свидетельствовало о болезни желудка. Говорили, что ему уже подыскивали невесту в немецких княжествах...

Хорошо, пусть средства в государственной казне ограничены (хоть и верилось в это с трудом), но ведь есть благотворители, меценаты — тот же Строганов? Неужели не пожертвуют на памятник несколько тысяч из своих миллионов?

И поплакаться теперь уже было некому, чтобы не прогневить ее величество... Приходилось ждать и терпеть.

Комнату к приезду Дидро приводили в порядок. Раза два выезжали на природу вместе с Поммелем и семейством Фонтена. Побывали у Дмитриевского на премьере комедии Мольера «Мизантроп» (в ней Иван Афанасьевич играл Альцеста), на приеме во французском посольстве и в гостях у Мишеля.

Клод Мишель сильно постарел за эти годы, как-то потускнел и обрюзг. Говорил дребезжащим голосом, словно бы старик, хоть на самом деле не имел еще и шестидесяти лет. А зато его дети выросли и повзрослели. Старший, Франсуа, уже брился и довольно откровенно паялся на мое декольте; превращалась в девушку и Симона (ей исполнилось пятнадцать), то и дело рдела щечками и все время смущалась; а зато младшему было только семь, он ходил еще в коротких штанишках и периодически пускал ветры после обеда, получал замечания старших и упорно продолжал портить атмосферу как ни в чем не бывало.

Брат Жан-Жак подарил мне в Париже племянницу, окрещенную Жюстин, а Марго родила мальчика Огюста. Иногда нам писал и Лемуан: жаловался на боли в коленях (он уже не мог подолгу ваять стоя) и просил побыстрее возвращаться на родину — потому что хотел бы увидеть нас и обнять перед смертью; стал чрезвычайно сентиментален к старости.

1772 год завершился окончанием работ по Гром-камню. Глыбу установили на предусмотренное ей место, спереди и сзади состыковали с обтесанными кусками, и тем самым постамент обрел свою спроектированную форму. Да, скала зрительно уменьшилась, как бы растянулась слегка и не выглядела больше обиженным, нахмуренным слоном; подчинившись воле ваятеля, укрощенный, покоренный, камень превратился в волну, набежавшую на морской берег, и послушно ждал установки бронзового Петра. Сверху в толще гранита были высверлены отверстия для закрепления арматуры, что пойдет из задних копыт и хвоста лошади...

Новый год начался с обильного снегопада, завалившего Петербург по окна нижних этажей. Настроение было праздничным, в помещениях пахло хвоей от украшенных елок, нас обуревали надежды на скорое счастье. Ах, как мы ошибались! 1773 год опрокинул всю нашу жизнь...

Душка Дени Дидро собирался приехать к нам в самом начале мая, но, когда узнал от другого корреспондента Екатерины II — Мельхиора Гримма, что в конце того же месяца из Дармштадта выезжает целый конный поезд в Петербург (мать, герцогиня Дармштадтская, едет с тремя дочками-принцессами на смотрины к Павлу Петровичу), то решил к ним присоединиться. Мы готовились к торжественному приему, наводили последний марафет в предназначенной для ученого комнате, как внезапно...

О, несносное, проклятое слово «внезапно»! Этот год полностью состоял из «внезапно», «неожиданно», «вдруг»! Мне писать об этом очень тяжело. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь... Коль взялась писать историю своей жизни, надо говорить обо всем.

Где-то за несколько дней до приезда Дидро рано утром раздался звон колокольчика у наших дверей. Открывает мадам Петрова, говорит мэтру: «Мсье Этьен, это к вам...» Боже, входит Пьер Фальконе собственной персоной! Сильно подурневший (в тридцать лет выглядел за сорок), весь какой-то потрепанный, неухоженный, и во рту не

хватает нескольких зубов. Криво улыбается: «Не прогоните блудного сына?» Да куда ж деваться, не прогоним, конечно...

Появляется папаша из своей комнаты, непричесанный после сна, удивленный, неласковый: «Здравствуй, здравствуй, сыночек... Ты какими судьбами в Петербурге?» Обнимаются, целуются, большей частью формально. «Так какими судьбами? Сел на корабль из Лондона... И приплыл».

Разумеется, в очередной раз убежал от кредиторов. И с наставником своим, Рейнольдсом, повздорил. Сжег мосты.

— Можно я у вас пока поживу?

— Поживи, не против. Только комнат у нас обустроенных гостевых нет. Приготовили одну для Дидро.

— Можно, я пока в его поживу?

— Хорошо, на первое время. Только не свинячь там.

— Обижаешь, папа. Разве я похож на неряху?

— Вылитый неряха и есть.

Кое-как пришли от этой новости в чувство. Пьер действительно вел себя вначале прилично, покурить выходил на балкон, пил вино только за обедом и не пропадал вечерами невесть где. Посетил с отцом Академию художеств, познакомился с Чекалевским, Лосенко, Гордеевым и договорился, что начнет вести семинар по портретной живописи. Попросил показать ему город. Без особой охоты согласилась (все-таки он был мне не слишком симпатичен, честно говоря). Прогулялись по Невскому, по мосту перешли на Заячий остров к Петропавловке и зашли в его собор, поклонились праху Петра Великого. Перешли на Васильевский, осмотрели Кунсткамеру, впрочем, при достаточном равнодушии Пьера. Гость явно заскучал, и тогда мы зашли пообедать в один из трактиров на углу Морской и Гороховой, где была и русская, и французская кухня. Фальконе-младший захотел попробовать русскую, но ни щи, ни гречневая каша с молоком ему не понравились, он переаказал бульон-консоме и страсбургский пирог. Говорили о многом: о России, о Франции, о Великобритании, о бездарности нашего короля и необходимости перемен.

— Понимаешь, Мари, — говорил мой названный «пасынок» (мы перешли на «ты»), — понимаешь, общество, в коем мы живем, просто отвратительно. Человеческая жизнь ничего не стоит. Люди гибнут

неизвестно за что. Все думают только о еде и деньгах. Разговоры исключительно об этом. Идеалы утеряны. Искренности нет.

— Отчего же нет? — возражала я. — Твой отец, например...

— Мой отец — чудак, не от мира сего, — улыбался Пьер. — Вечно в эмпиреях и свою жизнь положил на алтарь искусства. А кому, по большому счету, нужны его скульптуры? Им? Им? — И он тыкал пальцем в посетителей трактира. — Сомневаюсь. Да, конечно, памятник Петру. Если сумеет отлить как следует и установить грамотно. Если ж нет? Кто тогда вспомнит о Фальконе?

— Для чего думать о дурном? Отольют как положено, установят отлично. И о нем будут говорить, словно о Давиде работы Микеланджело или о Венере Таврической. Я не сомневаюсь.

— Был бы очень рад. Только скепсис гложет мою душу. Я всегда в сомнениях и себе не нравлюсь. Для чего рожден? Что могу сказать людям? Ни особого таланта, ни знатности. Так, пустая человеческая порода. Неприкаянная песчинка мироздания.

— Ты не прав, Пьер. Почитай Вольтера или же Дидро. Каждый человек по-своему уникален и талантлив. Только надо разглядеть в себе лучшие свои качества. Если не преуспеешь в творчестве, станешь заботливым мужем и отцом. Может, счастье твое в семье?

Пьер скривился, словно бы от уксуса:

— Тоже не уверен. Чтобы стать примерным семьянином, надо любить супругу по-настоящему. Я же не способен на светлые чувства. С юности искалечен непотребными девками. Вот тебя я мог бы полюбить, наверное. Но не так, чтобы посвятить тебе жизнь... И потом ты — женщина моего отца. Не имею права влезать в ваши отношения.

В этих разговорах он открылся мне с новой стороны — тонко чувствующей и ранимой личностью, чем-то сильно обиженной, недолюбленной родителями в его детстве и потом женщинами в зрелом возрасте. По-хорошему, хотелось бы его пожалеть. И утешить. Но моя любовь к Фальконе-старшему затмевала для меня всех других мужчин. А по-матерински тоже не могла приглубить Пьера, будучи на семь лет его моложе. Как сестра? Нет, не получалось...

Может быть, со временем мы бы с ним подружились, я не исключаю. Но... Впрочем, я об этом «но» расскажу чуть ниже. А пока надо описать прибытие в Петербург Дидро и немецких принцесс.

Конный поезд двигался из Дармштадта в Любек, где его поджидали три фрегата Российской империи под командованием графа Разумовского. Далее путешествие следовало по морю. Мы гостей ожидали 1 июня, но они задержались в Ревеле из-за непогоды. Только пятого числа получили записку: мсье Дидро сообщал, что доехал благополучно и по распоряжению царицы поселился вместе с Гриммом в доме Мятлева на Исаакиевской площади. (В скобках замечу: дом действительно назывался Мятлевским — по фамилии прежнего владельца, но теперь его хозяином был Нарышкин. А когда Дидро поругался с Гриммом, переехал в другой особняк Нарышкина.)

Мы, признаться, выдохнули с облегчением: разумеется, рады были бы приютить у себя великого мыслителя, но тогда несли бы ответственность за его комфорт, стол, чистоту одежды и прочее, а теперь освобождены от этих проблем; и к тому же не надо переселять Пьера — тоже немаловажно. Посетил нас ученый день спустя — в тот момент, как Екатерина и Павел отбыли знакомиться с дармштадтскими гостями.

Встретили ученого на крыльце, выйдя к нему навстречу. Он сбегал со ступенек кареты легко, быстро, вроде бы ему и не шестьдесят, а сорок. Да и внешне поменялся за эти годы не слишком — все такой же поджарый, энергичный, с доброй улыбкой на лице. Обнял Этьена крепко и поцеловал мне руку. Сделал комплимент: «Ваша красота, Мари, только прибывает с годами. Очарован вами вдвойне». Познакомился с Пьером и проследовал в наши апартаменты. Сели в столовой, выпили кофе. Мсье Дидро сказал:

— Сутками пропадаю во дворце. Государыня в восторге от визита моего и Гримма и не хочет с нами расставаться ни на минуту. Обсуждаем тысячи вопросов. Ах, какая мудрая женщина! Повезло России на такого правителя! Нет, конечно, мы знаем вековую отсталость русского общества — реформировать эту машину невероятно сложно, сила инерции велика снизу доверху, — но ведь вам, друзья, тоже представлялось нереальным перевезти из леса Гром-камень для пьедестала, а ведь привезли же! Так и здесь. Бог в помощь.

Впечатление его о России, о Петербурге:

— И страна, и город Петра противоречивы, как и сам Петр. Варварство соседствует с европейским фасадом. Блеск дворцов и ужасная нищета простого народа. Да, во Франции тоже велик разрыв между роскошью аристократии с духовенством и весьма скромным житьем простолюдинов. Но среди последних нищеты меньше, разве что в трущобах. А с другой стороны, русские бесхитростны в своей массе, более открыты душой, чем наши. Могут последнюю рубаху отдать другу. И за это простосердечие я их люблю.

О дорогах, о путешествии:

— Но дороги ужасны. Чуть отъехал от Петербурга — никаких дорог нет практически. Пыль и грязь. Главное, все подряд ругают эти дороги, но никто их не строит по-настоящему. То есть, говорят, строят, только деньги, выделенные на стройку, исчезают в чьих-то карманах. Ужас. А морское наше плавание было грандиозно. Совершенно без качки. Только напоследок застряли в Ревеле, так как шел сильный дождь, волны поднимались большие, и мсье Разумовский не решился рисковать самочувствием августейших особ.

О немецких принцессах и их матери:

— Герцогиня Дармштадтская — милая дама, образованная, начитанная, но, признаться, эти знания не пошли ей впрок. Часто судит и рассуждает, как простая кухарка. И скупа до невероятности. Держит дочек в черном теле. Старшая, Амалия, самая разумная и невозмутимая. Думаю, она была бы лучшей партией цесаревичу, умирала бы его страсти. Но не знаю, не знаю. Средняя, Вильгельмина, очень походит на мать — крайне расчетлива, вспыльчива и груба. Я бы в такую не влюбился, даже несмотря на ее привлекательность и молодость. Младшая, Луиза, слишком еще юна: ей всего шестнадцать, и она, по-моему, еще в куколки играет. Но лицо самое приятное из всего этого курятника. Может быть, и с ней цесаревич был бы счастлив, если б воспитал по собственному желанию. Словом, на его месте я бы в первую очередь обратил свой взор к старшей, во вторую очередь — к младшей, но никак не к средней. Кстати, ее величество тоже так считает: Разумовский рассказал царице о наших с ним общих впечатлениях. Но она не хочет навязывать сыну свое мнение, говорит, пусть он сердцем выберет сам.

О погоде и русской кухне:

— Странная погода в этом Петербурге. Солнце светит, жарко, через пять минут — облака и дождь. А еще через десять — снова солнышко. Не понятно, как одеваться. И еда местная меня удручает. Чересчур груба для моих кишок. Обострился колит, вынужден все время пить лекарства. Если так пойдет и дальше, протяну в России не больше месяца и уеду на родину: помирать из-за этой стряпни я не собираюсь.

После кофе и разговоров посетил мастерскую Этьена, где стояла большая модель памятника Петру. Долго ходил вокруг, приближался, отступал, рассматривал. Наконец, повернул лицо к нам; мне показалось, даже косоглазие его в то мгновение было не заметно. Произнес с чувством:

— Это превосходно. Ни на что не похоже. Мне мсье Лемуан, разумеется, показывал маленькую копию, мы ее одобрили, как вы знаете, но в натуре — совершенно иное впечатление. Сила, мощь! Ярость, натиск! Ухватили в Петре главное. Бешеный напор, все сметающий на своем пути. Вместе с тем — величавость и монументальность. Bravo, bravo, дорогой Фальконе! Если памятник будет установлен как ему положено, вы войдете в историю. Мы с мсье Лемуаном не ошиблись, протежируя вас. — И от всей души обнял мэтра. А потом взглянул на меня: — Это правда, мадемуазель Мари, что портретное решение было ему подсказано вами?

Я присела в книксене:

— Да, отчасти, мсье.

А Этьен возразил:

— Ну, не скромничай, не скромничай: голова на девяносто процентов твоя! Я немного подправил, кое-что уточнил — и только. И нисколько не ревную, а наоборот — счастлив, что у меня и у Лемуана есть такая ученица.

И Дидро вновь поцеловал мне руку.

Осмотрел и другие фигуры в мастерской, похвалил отливку «Мальчика, вынимающего занозу» и мои полушутливые бюсты наших домоправителей. А потом сказал:

— После выбора невесты цесаревичем и его сговора о бракосочетании состоится венчание — думаю, что меня и вас пригласят. А за сим, уверен, будут заказы — бюстов Павла и его жены. Так что наблюдайте за ними повнимательней.

Под конец его визита Фальконе попросил:

— А не будете ли вы так любезны, мсье Дидро, — не нарочно, а при случае, ненавязчиво — намекнуть царице, что пора бы профинансировать нашу отливку. Скоро год, как мы пребываем в простое. Срок контракта почти истек...

— Уж не сомневайтесь — намекну непременно, — живо обещал энциклопедист. — Я уверен, что никто вам нарочно палок в колеса не ставит. Просто суета сует отвлекает ее величество от вашего дела. Надо ей напомнить. Запаситесь терпением, господа, и все у вас получится.

Проводив философа, стали жить надеждой.

7

Цесаревич выбрал среднюю дочку — Вильгельмину. Говорили, что Екатерина очень недовольна этим решением, ратуя за старшую, но препятствовать свадьбе наследника не стала. Удостоила герцогиню-мать и ее дочерей орденом Святой Екатерины. В августе невеста приняла православие, сделавшись княжной Натальей Алексеевной, а затем состоялось обручение с Павлом Петровичем. Мы с Этьеном присутствовали на их венчании — 29 сентября — в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Было очень много народа, настоящая толчея, и рассматривать новобрачных издали плохо получалось. Но при выходе из храма мы раскланялись с Бецким, и Иван Иванович снисходительно произнес:

— У меня до вас разговор, мсье Этьен и мадемуазель Мари. Жду вас послезавтра у меня дома, к трем часам пополудни. Сможете? Вот и договорились.

Фальконе сжал мне руку, а я — его.

Далее 29-го же числа состоялась свадьба, но за праздничный стол нас не пригласили, мы и не особенно огорчились, а тем более, по рассказам, там гостей набралось столько, что досталось каждому по микроскопической порции, и поесть-попить как следует было невозможно. А на бал в честь бракосочетания 30 сентября мы попали — де Ласкари передал два билета. Зимний был в огнях, тоже не протолкнешься, и кареты только успевали подъезжать-отъезжать. В

бальном зале играл оркестр, и пары танцевали. А в буфетной подавали легкие закуски и прохладительные напитки. Здесь я впервые увидела Потемкина — это был плотного телосложения господин с крючковатым носом и бельмом на одном глазу. Но улыбка пленяла обаянием, и здоровый глаз загорался очень живо, весело. Говорили, что только вчера он приехал с турецкого фронта, и дела русских хороши, скоро заключат перемирие на прекрасных для России условиях. И еще разговоров было много о бунте Пугачева: власти поначалу не придали ему большого значения, но теперь обеспокоены и хотят послать регулярные войска. Дмитриевский пригласил меня танцевать менуэт, я вначале отказывалась, но потом пошла с разрешения Фальконе, и мы двигались в паре довольно слаженно, так что стали ко мне подходить и другие кавалеры с просьбой согласиться на следующие туры. Но Этьен их всех отогнал, говоря, что дама устала и больше не танцует. Вскоре мы уехали.

1 сентября с утра начали готовиться к визиту в дом Бецкого. Одевались тщательно, подбирали наряды неяркие, но солидные, модные и со вкусом. Я впервые надела новые туфельки, только что привезенные от здешнего модного башмачника (Ритбергера, кажется) и ужасно натерла пятки — еле дошла потом.

Но вначале все было хорошо, и погода стояла тихая, по-осеннему теплая. Дом Бецкого находился на Дворцовой набережной, был не слишком выразителен и слегка уныл (говорили, Фельтен спроектировал ему здесь же, на Дворцовой, новые хоромы, трех- или четырехэтажные, вместе с дивным садом). Что запомнилось из внутреннего убранства: множество картин голландских мастеров, но опять не слишком выразительных, птички в клетках (распевали и чирикали на все голоса) и персидские ковры на полу. Встретила нас воспитанница Бецкого (а на самом деле, скорее всего, незаконнорожденная его дочь) Анастасия Ивановна. Выше среднего роста, с изумительными карими глазами, очень милой улыбкой, грациозная, женственная, говорила она грудным бархатным голосом и как будто бы все время посмеивалась. Числилась при императрице в звании камер-юнгфер (ниже фрейлины), но, как говорят, пользовалась полным расположением государыни. (Если принять за правду, что Екатерина II — тоже дочь Бецкого, получалось, что они сестры по отцу.) В тридцать с небольшим лет все еще была не замужем, что, по-

видимому, никого не смущало, в том числе и ее саму; в доме Ивана Ивановича заправляла всем хозяйством.

Встретила нас радушно и сказала по-русски:

— Может, вы рассердитесь, господа, но намедни попросила Иван Иваныча, чтобы он заказал мадемуазель Колло мой скульптурный портрет. Очень вас прошу — не отказывайтесь. Он заплатит щедро, я вам гарантирую.

Я ответила:

— Для чего отказываться? Я готова. Сможете мне позировать?

— Да, пожалуй. Столько, сколько надо.

— Хорошо, чуть позднее мы договоримся о месте и о времени.

— О, чудесно, чудесно! — И она захлопала в ладоши от радости. — Можно вас обнять, мадемуазель Колло?

— Почему бы нет? — И мы обнялись, как сестры.

Фальконе смотрел на нас и смеялся. Тут из дверей второго этажа появился Бецкой, одетый по-домашнему: в бархатной курточке, кружевной сорочке апаш и в турецкой феске на голове (вместо парика). Он увидел наши объятия и проговорил:

— Настя уже и к вам подбила клинья? Страшная лизучка — всех подряд целует и обнимает.

— Что же в том дурного, Иван Иваныч? — с долей обиды в голосе отозвалась она. — Если я стремлюсь видеть в людях только хорошее? А хорошего человека можно и обнять, и поцеловать. Это вы вечно подозреваете всех в кознях и обманах. Потому что сами такие.

— Но-но-но! — погрозил пальцем генерал, впрочем, вполне миролюбиво. — Поболтай у меня еще. Ишь, чего надумала — благодетеля своего хулить! — обратился ко мне и Этьену с улыбкой: — Вы ее не слушайте, балаболка и есть. Поднимайтесь, сядем в библиотеке. Настенька, угости нас кофе.

На полу в библиотеке тоже был роскошный ковер, с длинным ворсом, так что туфли тонули в нем по самую щиколотку. С потолка свисало большое металлическое кольцо, в центре которого находился пестрый огромный попугай с желтым клювом; посмотрев на нас изучающим глазом, он сказал по-русски бранчиво: «Это что за дураки?!» Мы рассмеялись, а Бецкой махнул на птицу рукой:

— Тихо, Фердинанд! Это гости. С ними так нельзя.

— Гости, гости, — проворчал Фердинанд. — Ходят тут, а потом книги пропадают.

Книг действительно было много — застекленные шкафы по всем стенам, снизу до потолка. И передвижная деревянная лесенка — доставать фолианты с верхних полок.

Мы присели в кресла друг напротив друга. Настя принесла кофе и пирожные, разлила по чашечкам.

— Вы, конечно, ждете от меня известий о начале отливки памятника, — не спеша заговорил президент Академии художеств. — Но пока что мне порадовать вас нечем, господа. Видите, какие траты на войну, на поимку самозванца, на приемы заграничных принцесс... и еще многое на что, о котором я не уполномочен говорить... Словом, надо ждать.

— Может, нам уехать пока? — с долей раздражения спросил Фальконе. — Что сидеть без дела? А когда деньги на отливку появятся, мы приедем вновь.

— Нет, ее величество приказала вас не отпускать, — покачал головой Бецкой. — Дело вам нашлось. Государыня заказывает бюсты новобрачных — Павла Петровича и Натальи Алексеевны, я же со своей стороны — бюст Анастасии Ивановны. И еще. С вами, мсье Фальконе, проживает ваш сын, живописец, обучавшийся в Англии и теперь принятый мною для преподавания в нашей Академии. И ему заказ: пусть напишет ее высочество великую княгиню. Денег в казне в обрез, и поэтому рассчитаюсь я с вами сам, из собственных средств. Вы согласны?

Поклонившись, Этьен ответил:

— Разумеется, коль не оставляете выбора для нас... Завтра же приступим. Я беру на себя цесаревича, а Мари возьмет цесаревну и вашу воспитанницу. А когда Наталья Алексеевна соизволит позировать, то к мадемуазель Колло присоединится и мой сын.

Просидели у Бецкого еще четверть часа, слушая его рассуждения о необходимости просвещать народ, все сословия, чтобы русский мужик тянулся не к водке, а к книжке. Наконец, мы откланялись, получив от попугая прощальную реплику: «Прочь пошли, дураки, дураки!» Я едва ступала от натертых туфлями пяток. Но возможность побывать в Зимнем, пообщаться с царственным семейством очень веселила и вдохновляла. Я еще не знала, что из этого может выйти...

Пьер тоже загорелся идеей написать портрет ее высочества, и мы стали ожидать приглашения. А оно не замедлило прийти: нас двоих зазывали 10 ноября. Начали готовиться — что надеть и какие материалы взять с собой; я решила ограничиться альбомом и грифелем, а мой названный «пасынок» приготовил этюдник на треноге. В день посещения прибыла за нами карета, и мы двинулись.

Провели нас не с парадного входа, а с какого-то бокового — там, в том крыле Зимнего дворца, проживал и располагался «малый двор», то есть цесаревич и его окружение (это уже потом государыня подарит сыну резиденции в Павловске и Гатчине, чтобы удалить от себя нелюбимого отпрыска, не желая отдавать ему трон по закону). Мы поднялись по неширокой лестнице (здесь, в отличие от главного подъезда, не стояло ни одного чернокожего лакея в ливрее, только несколько караульных солдат у дверей) и прошли через анфиладу комнат в серую гостиную («серую», потому что шелковые обои и обивка мебели были цвета маренго). Ощущалась некоторая прохлада — установленный в глубине комнаты камин не горел; тем не менее нам пришлось скинуть верхние одежды и отдать слугам; пальцы сразу озябли.

— Что за черт, — сказал Пьер по-французски — за полгода пребывания в России он не выучил и трех русских слов, — как работать при таком-то морозе? Нет ли здесь помещения потеплее?

— Я откуда знаю! Спросим теперь у кого-нибудь.

Вскоре появился молодой офицер в зеленом мундире и светло-сером парике. Как потом выяснилось, это был граф Андрей Разумовский, близкий друг Павла Петровича (именно его посылали за немецкими принцессами в Любек) и одна из ключевых фигур «малого двора». Шаркнув ножкой, он сказал на превосходном французском:

— Господа, ее высочество сейчас выйдет. Есть ли какие-либо пожелания с вашей стороны?

— Да, мсье, — кивнул Пьер. — При таком холоде пальцы совершенно не гнутся, и работать будет невозможно. Нет ли другого помещения?

Офицер рассмеялся и ответил:

— Несомненно. Тут у нас на дровах экономят и отапливают только спальни. А для вас мы попросим разрешения перейти в покои императрицы.

— Будем вам весьма благодарны.

Разумовский удалился. Мы переглянулись.

— Экономят на дровах? — скорчил рожицу «пасынок». — У наследника престола? Совершенно не понимаю этих русских.

Наконец, нас перевели по длинному полутемному коридору в основное здание Зимнего дворца. Комната была оформлена в китайском стиле — красные шелка, красные и желтые фонарики, низкие диваны и столики. Ярко горел камин — от него становилось не просто тепло, а даже жарко. Вышел Разумовский:

— Ну, теперь хорошо? Вы довольны?

— Да, спасибо большое.

— Это так называемая Китайская гостиная. Здесь ее величество часто по вечерам с гостями играют в карты. А сейчас свободно. Нам позволили ее занять.

Отворилась дверь, и вошла миловидная стройная девушка лет восемнадцати в сером высоком парике и шелковом платье кремового цвета. Губки ее прелестные были словно лепестки розы. И немного настороженный взгляд. Разумовский проговорил, как церемониймейстер:

— Ее высочество великая княгиня Наталья Алексеевна.

Мы почтительно поклонились. А она сказала по-французски с сильным немецким акцентом:

— Рада вас видеть, господа. Рада вдвойне, так как в наших комнатах в самом деле очень холодно — здесь хотя бы погреемся. Матушка государыня создает сыну спартанские условия. Ничего, позже мы припомним ей все.

Это замечание испугало графа Андрея, он проговорил вполголоса:

— Ах, прошу вас, мадам, будьте осторожнее. Здесь повсюду уши.

Но Наталья Алексеевна только фыркнула:

— Мне? Бояться? Без пяти минут императрице? Пусть боятся те, кто удерживает власть незаконно. — Повернулась к нам, мягко улыбнулась: — Ну-с, приступим, господа? У меня свободных два часа. Нечего терять время.

Так мы с Пьером приезжали во дворец четыре раза. Я изрисовала альбом, а потом второй, приступила у себя в мастерской к глиняной версии портрета. Пьер закончил два этюда красками. Два последних сеанса проходили все-таки в серой гостиной — там уже топили, и мы чувствовали себя совершенно комфортно. На последнем сеансе неожиданно вошел цесаревич. Был в домашнем халате и без парика. Поздоровавшись с нами по-французски, быстро заглянул мне в альбом, а Пьеру в этюдник. Весело сказал:

— У Колло похоже, а у вас, Фальконе, не слишком. Я вот все никак не сподоблюсь попозировать вашему отцу. Ничего — вот закончите и уступите ему место. — Неожиданно спросил: — Вы играете в карты?

Мы переглянулись с «пасынком». Я ответила:

— Карты — не моя страсть. А вот он играет. Проигрался в Лондоне так, что пришлось бежать.

Все мы посмеялись. Павел Петрович пригласил:

— Оставайтесь сегодня во дворце. Вместе поужинаем, а потом поиграем вчетвером. Отведем вам комнату, и переночуете. Топят сейчас везде, так что не замерзнете.

Отказаться мы постеснялись, и пришлось согласиться. Только попросили переслать с курьером записку Фальконе-старшему, что сегодня ночевать не приедем; просьбу нашу выполнили. Ужин был не роскошен, но пристоеен: овощи, немецкие колбаски с тушеной капустой и картофелем, рыба в сметанном соусе, выпечка, фрукты. Из напитков — пиво, молодое вино, оранжад, кофе. Сам наследник употреблял только пиво. Он прекрасно говорил по-французски, иногда переходил на немецкий, обращаясь к жене. Говорил с воодушевлением, как изменится Россия при его будущем правлении: жаждал реформировать буквально все — от военной службы до публичных библиотек. А себя называл достойным правнуком Петра Великого. Выпив кофе, мы уселись за карточный стол. Пьер предложил сыграть в макао, но царевич не согласился, так как считал ее азартной, а значит, непозволительной (впрочем, тут же заметил, что его «маман» обожает макао), и сошлись на висте. Лучше всех играл Фальконе-младший — чувствовалась практика — в результате выиграл около двухсот рублей, но поскольку я оставалась в проигрыше, расплатился за меня одной из сотен.

Около полуночи потянулись в спальни. Неожиданно выяснилось, что для нас с Пьером выделили на двоих одну комнату. Правда, кроватей было две, но остаться наедине с относительно чужим мне мужчиной не хотелось, и я высказала слуге, провожавшему нас, некое возмущение. Тот непонимающе хлопал глазами и бубнил, что не знает ничего, как ему велели, так он и сделал. Пьер просил позвать кого-нибудь из начальства. Но слуга разводил руками: время позднее, все уже легли. Обругав его нехорошими словами на всех языках, заперли за ним дверь.

— Ладно, ничего, — примирительно сказал «пасынок». — Все-таки отчасти мы родичи. Обещаю вести себя как джентльмен. Не тревожся.

— Я и не тревожусь, — огрызнулась в ответ.

Разложив постели, мы задули свечу. Целиком раздеваться я постеснялась, на себе оставив сорочку и нижние юбки (но корсет пришлось-таки снять, спать в нем неудобно). Оба легли и затихли. Вскоре Пьер захрапел, и я успокоилась. Было жарковато и душно. Где-то за окном, выходящим на Дворцовую площадь, слышались звуки развода караула. Наконец, начала тоже забываться, и пред глазами отчего-то возникла мадам Дидро, весело игравшая на клавесине, а потом, глядя на меня, попросившая: «Назови дочку Мари-Люси». — «Дочку? — удивилась я. — Но врачи сказали, что детей у меня не будет». — «Будет, будет, — рассмеялась тетка. — Вот увидишь». — «Но с Этьеном у нас не случилось близости около двух месяцев». — «Это ничего, это ничего», — повторяла она. Я проснулась и открыла глаза. В комнате все так же было душно и темно. «Дочка? Мари-Люси? — промелькнуло в мозгу. — Ах, боюсь, этот сон не в руку...» — и опять заснула.

Пробудилась внезапно от какой-то тяжести, навалившейся на меня. Ничего не могла понять, попыталась вырваться, но, увы, не смогла: это Пьер, сгорая от страсти, целовал меня в шею, щеки, губы и шептал какие-то жаркие слова. «Ты же обещал! — восклицала в отчаянье. — Как ты смеешь! Я и твой отец...» — «Мне плевать на отца, — бормотал неистовый «пасынок». — Он старик, а я молодой. Я хочу тебя...» — «Нет, мы не должны... Пьер, пожалуйста... Успокойся, пойми... Умоляю!.. Пьер!..»

Бесполезно.

Целомудренно опушу подробности, но признаюсь в главном: как ни странно, тем, что произошло, не была разочарована... Да, любила моего Этьена, но с Этьеном ощущения отличались от тех, что мне подарил Пьер. Я на долю мгновения ощутила даже некое удовлетворение... Отчего так бывает? Человек — во многом животное, и животные страсти часто верх берут над духовностью и разумом...

Утро было серое, туманное. За окном опять разводили караулы. Сев на кровати, я набросила на плечи одеяло. Пьер лежал у себя, заложив руки под затылок, и разглядывал потолок.

— Пьер, Пьер, — завздыхала я. — Что мы натворили!

— Что? — спросил он, повернув ко мне голову.

— Как я смогу смотреть в глаза твоему отцу?

«Пасынок» скривил губы.

— Очень даже просто. Ничего не было. Так, минутная слабость. Это же естественно: если два разнополых существа, молодых, темпераментных, спят бок о бок... Все закономерно. Сходим в церковь и отмолим грех.

— Нет, мне совестно.

— Перестань, не думай. Ведь тебе было хорошо? Я ведь понял, что тебе было хорошо. Вот и прочь сомнения. Эта ночь для меня тоже навсегда останется в памяти. Как счастливый эпизод в жизни. И наш маленький, маленький секрет.

— Ты отцу ничего не скажешь?

— Нет, конечно. Для чего беспокоить старика?

Вскоре нас пригласили на завтрак. За столом кроме великокняжеской четы были еще Разумовский и Никита Панин — граф, в недавнем прошлом — воспитатель Павла Петровича, а еще три фрейлины ее высочества. Разговор шел по-русски, и они не считали нужным что-либо скрывать от нас, полагая, что мы не поймем. Речь вначале зашла о Пугачеве — государыня назначила командующим операцией против бунтовщика брата Панина — Петра.

— Петя справится, — уверял Никита, — храбрости и решительности ему не занимать. Вряд ли бунтовщик одолеет регулярные войска. Дело в другом: в настроении плебса. Если самозванец столько привлек к себе народу, значит, люди не довольны существующими порядками. Надобно менять управление. Нам нужна конституционная монархия.

Павел выпалил:

— Да! Хоть завтра! Пусть она отдаст мне трон. Я готов провести реформы. Но она ведь не отдает!

— И не отдаст, — ухмыльнулся Разумовский. — Каждый из нас это понимает. Мы ее характер изучили прекрасно.

— Силу применять не хочу, — заявил наследник.

— Сила в армии, — продолжал Панин. — Если преображенцы, измайловцы, семеновцы будут на стороне вашего высочества, этого достаточно. Передаст власть как миленькая.

— Но ведь это переворот? — сомневался великий князь.

— Да помилуйте! Вы — законный наследник вашего отца, и она имела право быть регентшей только до вашего совершеннолетия. И теперь получается, узурпировала власть. Вы должны взять свое.

Павел перевел жене на немецкий. И она выразила согласие:

— Дорогой, я убеждена: так и надо действовать. Сколько можно терпеть ее выходки — не дает ни дров, ни приличных денег. Пфуй!

Панин посмотрел в нашу сторону и спросил:

— Господа художники понимают по-русски?

Я ответила на французском:

— Пьер не понимает ни слова, я чуть-чуть.

— Значит, мадемуазель Колло, можете уразуметь, что услышанная вами беседа носит черты приватности. Если кому-то сообщите о ней, вам несдобровать.

Я удивилась:

— Разве что-то звучало предосудительное? Мне и невдомек. Но даю слово: ни одна живая душа не узнает подробностей нашего завтрака.

— Постараемся вам поверить.

Выпив кофе, мы примерно час-полтора поработали с великой княгиней над последними этюдами и уехали в поданной карете. По дороге Пьер спросил:

— Точно ничего не скажем отцу?

Разумеется, он имел в виду не крамольные разговоры за столом, так как ничего в них не понял, а случившееся между нами ночью. Я взглянула на него с удивлением:

— У тебя есть иное предложение?

— Да, Мари. Предложение есть: стань моей женой.

У меня внутри все похолодело.

— Ты серьезно, что ли?

— Совершенно серьезно. Ты мне очень нравишься, и ночное событие... В общем, предлагаю узаконить наши отношения.

— Пьер, благодарю тебя за доверие. Я должна подумать.

— Хорошо, подумай. Всё теперь от тебя зависит.

Фальконе-старшего мы застали у него в комнате — он лежал на диване и читал русскую газету (многое по-русски уже понимал, но писать еще не мог). Встретил нас радушно, спрашивал, как мы провели эту ночь, — я и Фальконе-младший отделались общими словами. Но когда «пасынок» (или же теперь будущий жених?) удалился к себе, я сказала Этьену:

— Есть серьезный разговор.

Он напрягся:

— Слушаю тебя.

— Павел Петрович со своим окружением думают отстранить императрицу от власти. Я была свидетелем их беседы, даже обещала молчать о ней. Но с тобой обязана поделиться. Потому как боюсь, в случае воцарения его высочества наш проект памятника Петру будет отменен. Или заморожен.

Мэтр нахмурился. И проговорил:

— Не уверен, но и скидывать со счетов не могу... Передай мне в деталях, как они толковали.

Я передала. Он еще больше помрачнел. Стал рассказывать по комнате.

— Что же делать, что делать? — рассуждал вслух. — Может, написать ее величеству?

— Нет, ни в коем случае! — замахала я руками. — Всякое письмо — это документ. Могут перехватить, могут шантажировать — нет! Лучше бы получить аудиенцию.

— Слишком трудно. Невозможно! Ведь она, конечно, подумает, что опять хочу добиваться отливки памятника, и не станет встречаться.

— Может быть, поведать Бецкому?

Фальконе замер, и лицо его просияло.

— Правильно! Бецкому! Рассказать о заговоре, он и донесет государыне. Умничка, Мари! — подошел и обнял меня с любовью. — Светлая головушка.

У меня из глаз побежали слезы.

— Господи, ты плачешь? — удивился он.

Всхлипнув, я ответила:

— Так, не обращай внимания, это нервы.

— Нервы, нервы, — повторил скульптор. — Все болезни от нервов, правду говорят. — И погладил меня по голове. — Я теперь же испрошу у Бецкого аудиенции — дело государственной важности!

— Безусловно. — А сама, вытирая щеки, удалилась к себе.

В тот же день Этьен побывал у Ивана Ивановича, и уже на завтра получил записку от императрицы. Вот она:

«Дорогой Фальконе, славный мой дружочек! Вы мне оказали бесценную услугу. Я в долгу не останусь: все, что полагается Вам и мадемуазель Колло, будет выплачено немедленно, плюс еще двадцать тысяч в качестве подарка. Деньги на отливку найдем в ближайшее время, обещаю. Неизменно Ваша — Екатерина».

Мы торжествовали. А моя совесть абсолютно не грызла меня за предательство великого князя. Почему я должна блюсти его интересы в ущерб своим? Каждый за себя.

Нам действительно вскоре выплатили все причитающиеся средства и подарок. В то же время стало известно, что Никита Панин отправлен ее величеством в Пруссию на переговоры с Фридрихом II, а Андрей Разумовский сослан в Ревель. Я боялась их мести, но надеялась, что они вряд ли догадались о моей роли в этой истории. Только успокоилась, как еще одна потрясающая новость выбила меня из привычной колеи: я была беременна!

Не могла понять: радоваться или нет? То, что вердикт врачей о моем бесплодии не подтвердился и могу иметь ребенка (если, конечно, выношу), было для меня счастьем. Я всегда хотела иметь детей. И Господь услышал мои молитвы. Но, с другой стороны, несомненно, что отец будущего отпрыска — не Этьен, а Пьер. Получается, надо принимать предложение Фальконе-младшего и венчаться с ним, чтобы новорожденный не был незаконным. Значит, мой разрыв с Фальконе-

старшим неминуем. Но на это я никак не могла решиться. Сердце разрывалось от боли. Положение становилось невыносимым.

Отвлекалась ваянием. Бюст Натальи Алексеевны в глине получил окончательный вид в январе 1774 года. К этому же времени Пьер закончил свою картину. Мы их повезли во дворец. Новый прием оказался более холодным. Павел не появился вовсе (так и не собрался позировать Этьену, и его скульптурный портрет оказался нереализованным), вышла великая княгиня в какой-то толстой шали, бледная, невеселая. Бегло посмотрела работы. Сдержанно кивнула: «Гут». Я спросила: можно ли перенести бюст ее в мрамор? Посмотрела на меня как-то отстраненно, вроде не понимая. А потом одобрила: «Йа, йа, гут», — и ушла, даже не попрощавшись. Мы, пожав плечами, удалились тоже.

На обратном пути в карете я сказала Пьеру:

— У меня для тебя интересная новость.

Удивился:

— Да? Что за новость?

— Скоро ты сделаешься отцом.

Он опешил и сидел какое-то время молча. А потом спросил:

— Ты не шутишь? Точно?

— Врач говорит, что на третьем месяце.

— Я не про врача. Точно от меня?

Я поджала губы:

— Больше не от кого. Больше не была близка ни с кем чуть ли не полгода.

Взял мои ладони в свои, крепко сжал:

— О, Мари! О, какая удача! Повезло хоть в чем-то! Ну, теперь ты согласна выйти за меня?

Опустила глаза долу:

— Да, согласна...

Он прижал меня к себе и поцеловал в щеку. Произнес:

— Счастье, счастье! Просто удивительно: сразу делаюсь мужем и родителем! — весело рассмеялся. А потом сказал с тревожными нотками в голосе: — Как мы скажем отцу? Сможет ли понять и простить?

Я вздохнула:

— Ох, не знаю, не знаю, Пьер. Он и так в последнее время в меланхолии, ждет не дождется начала отливки. Де Ласкари обещает этой весной.

Фальконе-младший посмотрел вопросительно:

— Но ведь он не звал тебя замуж никогда?

— Нет, официально — ни разу. И всегда не радовался моим беременностям в прошлом.

— Ну, вот видишь. Значит, и говорить не о чем. Сам виноват — не женился вовремя, упустил возможность. Не переживай, дорогая Мари. Все устроится лучшим образом, я не сомневаюсь.

— Дал бы Бог. — Я опять вздохнула. — Но давай чуть повременим с объяснением: вот Дидро проводим — он уезжает в феврале, — а начало отливки по весне отвлечет Этьена от грустных мыслей. Ты не против?

— Только за! — И еще раз поцеловал меня в щеку.

Попросила Фонтена как искусного резчика оказать мне помощь в перенесении бюста Натальи Алексеевны в мрамор. Александр ходил в последнее время веселый — снова ждал прибавления семейства. Говорил, что дождется отливки статуи Петра и потом сразу же уедет с женой, тещей и детьми в Париж; денег, заработанных в России, хватит на год-другой, а потом, открыв свою студию, станет сам для учеников мэтром. Мне хотелось рассказать ему и о собственных жизненных планах, но сдерживала себя: может проболтаться — если не самому Фальконе-старшему, так Филиппу, а слуга не преминет донести хозяину. Надо было держаться.

Уезжал Дидро не на корабле (Финский залив был еще во льдах), а по суше, несмотря на февральские морозы, — он боялся, что позднее русские дороги раскиснут и придется ждать наступления лета. Он вообще изначально собирался погостить в Петербурге не более двух месяцев, а застрял на полгода: государыня не хотела отпускать, и к тому же его здоровье пошатнулось от русской кухни (говоря по-простому, маялся животом). Мы за эти пять с половиной месяцев виделись с ним нечасто — раза три или четыре, да и то мимолетно, в перерывах между его визитами в Зимний. Надо отметить, что ученый несколько поумерил пыл в отношении государыни — говорил о ней менее восторженно, сетовал, что она исповедует либеральные взгляды только на словах, а на деле ведет себя так же, как и остальные монархи

Европы. Об отмене крепостничества и слышать не хочет. А в ответ на вопрос Дидро, как она поступит с Пугачевым после поимки последнего, даже не моргнув глазом, сказала: «Четвертуем». То есть ему сначала отрубят руки и ноги, а уже потом голову. Мы потрясены были тоже. Вот вам и «просвещенная царица»! Вспомнилась басня Лафонтена о волке в овечьей шкуре.

Проводить Дидро мы с Этьеном поехали на одну из почтовых станций в пригороде (на торжественном его отбытии из дворца не поговоришь откровенно). Ожидали, сидя за большим самоваром, и невесело грызли сушки. Наконец, появилась карета-дормез (в ней путешествовали не сидя, а лежа, что необходимо было больному философу). Мсье Дени вышел невеселый, весь какой-то измученный, щеки впалые. Обнял нас по-стариковски, не крепко. Мы прошли к самовару, сели, обменялись какими-то дежурными репликами. Он сказал:

— Уж не знаю, выйдет ли доехать живым. Все кишки болят. Иногда света белого не вижу. Только порошками спасаюсь.

Фальконе заметил:

— Главное — дотянуть до Пруссии. Европейские блюда вас вылечат.

— Я надеюсь. Вы-то когда в Париж?

— Бог весть. Если начнем отливку по весне и она удастся, то, наверное, через год.

— Раза два говорил о вас ее величеству. При прощальной встрече тоже. Обещала всячески содействовать.

Скульптор усмехнулся:

— Русские говорят так: «Блажен, кто верует».

— Что сие значит?

Мы перевели и растолковали. Энциклопедист кивнул:

— Да, у русских всё так: только верить и остается. Истинно: блаженный народ!

Посидев еще минут десять, он заторопился: «Надо, надо ехать, чтобы темнота не застала в дороге. Очень бы хотел добраться до Ревеля к концу дня. Там меня ожидает мсье Разумовский. Необыкновенно добрый и умный человек».

Посадили (а точнее — уложили) ученого в дормез и стояли долго в воротах почтовой станции, провожая карету взглядом.

— Как бы действительно не помер в дороге, — покачал головой Этьен.

— Будем молиться о его здравии.

(Забегая вперед, скажу, что, действительно, Дидро доехал благополучно, и судьбой ему было уготовано жить еще десять лет.)

10

Дальше тянуть было невозможно: мэтр наверняка бы заметил мой округляющийся животик, — и решились с Пьером объясниться в первых числах марта 1774 года. Пьер слегка выпил «для храбрости» и казался невозмутимым, только щеки более румяные, чем обычно, и глаза блестят особенно ярко. Фальконе-старший находился у себя в кабинете и сидел за письменным столом (как потом выяснилось, отвечал на послание Лемуана из Парижа). Мы вошли и встали напротив, словно непослушные школьники, вызванные директором для нравоучений. Скульптор поднял на нас глаза, снял очки и спросил в недоумении:

— Что случилось, Пьер, Мари?

Ничего не говоря, дружно опустили перед ним на колени (очевидно, со стороны это выглядело довольно комично). Наконец Фальконе-младший проговорил:

— Ах, папа, мы пришли покаяться...

Заподозрив неладное, тот негромко выдохнул:

— В чем покаяться?

— Не смогли удержаться от соблазна... искушения... стали очень близки друг другу... и теперь Мари от меня ждет ребенка...

Мы понуро склонили головы. В кабинете повисло тягостное молчание. Первым его нарушил родитель Пьера, проворчав:

— Так и знал, что этим когда-нибудь кончится. Как говорится, пустили козла в огород... — Он поднялся, вышел из-за стола и прошелся по кабинету, огибая нас то справа, то слева. Встал к окну и, взирая на Невский проспект, сухо бросил: — Обесчестил девушку — так женись.

Сын, естественно, оживился:

— Ты благословляешь?

Обернувшись, Этьен произнес сквозь губы:

— У меня есть выбор? Да, благословляю. Чтобы внук мой не оказался бастардом. — Подошел и положил руки нам на темечки. — Раз уж так сложилось... по воле Господа... Будьте счастливы, дети мои... Если будете счастливы — я за вас порадуюсь, говорю искренне. Я люблю вас обоих. И поэтому ваше счастье — и мое счастье. Старики должны уступать дорогу молодым. — И перекрестил нас.

Мы поднялись и обняли его. Я старалась сдерживать рыдания, и Этьен, по-видимому, тоже. Только Пьер сиял, как начищенная медная пуговица. Фальконе-старший поцеловал нас целомудренно, по-отечески и махнул рукой:

— Ну, ступайте, ступайте. Мне необходимо побыть одному.

Поблагодарив его за оказанную милость, мы ушли. Наконец я расплакалась почти в голос, а мой будущий муж, глядя мое плечо, только повторял:

— Полно, полно, Мари. Все устроилось как нельзя лучше. Надо думать не о прошлом, а о будущем — о ребенке, о нашей свадьбе. Нынче же отправлюсь к отцу Жерому и договорюсь о дате венчания. А к тебе должен скоро прийти Фонтен — приведи себя в порядок к его приходу.

Да, Фонтен! Надо же сказать и Фонтену. Как он отреагирует?

Мы заканчивали с ним бюст Натальи Алексеевны в мраморе. Не могу сказать, что сия скульптура — крупная удача моя. То есть, безусловно, похожа на оригинал, симпатична и благообразна, но какой-то изюминки не хватает. Некой чертовщинки, превращающей изваяние в живую плоть. Даже знала, как это сделать, но боялась, что такая «ожившая» великая княгиня не понравится ни ей самой, ни супругу, ни государыне, — приходилось жертвовать искусством во имя политики с политесом.

Александр несколько опоздал, был весьма чем-то озабочен. Я спросила, что произошло. Он взглянул на меня рассеянно, а потом потряхнул головой:

— Ай, какая разница. Нелады в семье.

— Что, поссорились?

— Да, с мадам Вернье. Но ведь теща с зятем всегда ссорятся.

— А из-за чего?

— Как обычно, слово за слово... Анна захотела соленых огурцов, я пошел и купил. Но она есть не стала, говоря, что они пахнут бочкой. Я пошел и купил другие. Эти почему-то пахли рыбой, и она от них тоже отказалась. Тут пришел Поммель и принес огурцы от мадам Петровой (как он узнал, что моя жена хочет огурцов?). Эти оказались как нельзя лучше, Анна была в восторге. А мадам Вернье бросила с издевкой: «Вот учись, как надо обходиться с женщинами!» Я, понятное дело, разгорячился: мол, готов уступить вашу дочь Поммелю, если он для вас такой замечательный. А она: «Ты давно ее уступил, болван!» Представляешь? Что бы это значило? Вот хожу и думаю: может, и ребенок не от меня, а от Поммеля?

Я взяла его за руку:

— погоди, успокойся. Безусловно, Поммель — большой проныра, но не думаю, что настолько. Да, отвечивал комплименты твоей жене, а она ему строила глазки, но когда им было сойтись по-настоящему? Он обычно в мастерской по литью, правда, больше спит, чем работает, но всегда на виду. Анна же сидит дома с девочкой...

Александр отнял руку:

— Знаешь, при желании можно найти и время, и место! А тем более я бываю пьян периодически по праздникам... Мы с Филиппом — ты знаешь — иногда себе позволяем...

— Лишний раз говорит о вреде пьянства.

— Да, согласен... Но теперь-то что делать?

Я пожала плечами:

— Ничего. Жить, как жили. Постараться отвести Поммеля от дома.

— Нет, а если ребенок от него?

— Что ж с того? Русские говорят: не тот отец, кто родил, а кто вырастил.

— Мне растить чужого ребенка?

— Будешь любящим родителем — он твоим и станет.

Но Фонтену это не понравилось:

— Не смогу... Сердцем не приму...

— Но ведь ты не уверен, что он не твой! Может быть, и твой.

— Не уверен, да... Ах, Мария, я с ума схожу!

Обняла его, словно брата, и погладила по спине:

— Тихо, тихо, дружок. Лучше бы помог мне в моей ситуации...

Он уставился на меня вопросительно:

— У тебя тоже нелады?

— Я не знаю, как сие назвать... Ты сейчас поймешь. Дело в том, что в ближайшее время замуж выхожу.

У него глаза сделались квадратными:

— Мэтр Фальконе все-таки решился?

Я вздохнула:

— Фальконе, Фальконе, да не мэтр только...

— Как? А кто?

— Фальконе-младший.

Александр почти шарахнулся от меня:

— Пьер?! Да ты рехнулась!

Я даже оскорбилась немного:

— Отчего так считаешь?

— Оттого, что на нем пробы ставить негде! У него на лице написано — бражник, гуляка, прохиндей!

— Не преувеличивай. Он давно не пьет. Начал преподавать в Академии. Написал портрет ее высочества. Взялся за ум, короче. А семейная обстановка сделает его мягче, умиротворит.

Друг не согласился:

— Нет, горбатого могила исправит. Заклинаю тебя, Мари: откажись от свадьбы. Делаешь ошибку. Я бы еще смирился с браком твоим с мсье Этьеном — он же гений, и ты гений, вы должны быть вместе. Но не с Пьером! Он тебя погубит! Откажись, молю!

— Ах, Фонтен — поздно, поздно: жду от него ребенка.

— Что, от Пьера?!

— Да.

Резчик перекрестился:

— Пресвятая Дева! Господи, помилуй! — заглянул мне в глаза: — Пьер тебя изнасиловал? Можешь промолчать: изнасиловал! А иначе бы ты не согласилась на это... Я убью его!

Я взяла Алекса за плечи и тряхнула сильно:

— Хватит! Прекрати! Не твое дело, как это случилось. И вообще — какая разница? Главное, что я стану матерью. И ребенок не будет незаконнорожденным. Остальное — терпимо.

Сидя напротив меня на стуле, запустил пальцы в шевелюру и качался, как молящийся иудей:

— Боже, Боже, чем мы провинились? За какие такие грехи нам ниспосланы муки эти?

Я ответила:

— Муки не за грехи. За грехи — кара. Муки даются, чтобы испытать силу духа. Муки Иисуса — не за Его грехи, а во имя искупления грехов человечества. Если мы с честью преодолеем муки, то очистимся. И приблизимся к Абсолюту. Надо терпеть и верить.

Александр в очередной раз качнулся:

— Мы не угодники, чтобы терпеть и верить тупо.

— Мы не угодники, но тянуться к святости надо.

Села рядом с ним, положила голову ему на плечо.

— Ничего, мой любезный друг, все проходит, пройдет и это. Мэтр Фальконе отольет памятник, установит, и мы уедем. Франция даст нам умиротворение. Родина всегда умиротворяет.

Он ответил со вздохом:

— Ты такая славная, Мари. И я так тебя люблю. Почему мы не вместе? Поженились бы по приезде в Россию, ничего бы не произошло из того, что произошло.

— Значит, Бог так решил.

— Понимаю — Бог...

Вскоре бюст Натальи Алексеевны был закончен.

11

У меня сложилось впечатление, что Этьен не просто примирился со случившимся, но и приободрился даже. Вроде раньше чувствовал за меня ответственность, беспрестанно думал о необходимости жениться, а идти под венец ему не хотелось, и внезапно сын избавил его от подобных терзаний. Камень (Гром-камень?) рухнул с души скульптора. Русские говорят — «гора с плеч». И ходил от этого веселый, даже насвистывал что-то легкомысленно. Значит, не любил, как бы я хотела? Нет, любил, только годы брали свое. И не чувствовал в себе силы на семью и детей. А теперь все устроилось лучшим для него образом: я ведь становилась мадам Фальконе, мы по-прежнему рядом, только в иных ролях; он и не в претензии; роль хорошего свекра и деда его устраивала.

Свадьбу мы назначили на субботу, 2 апреля. Срочно заказали мне подвенечное платье, новые туфельки и красивый парик. Пьеру тоже сшили новый камзол и туфли. Составляли список гостей. Хлопоты по организации стола полностью взяла на себя мадам Петрова при содействии нашего Филиппа. Пригласили музыкальный ансамбль из пяти человек (как без танцев на свадьбе?). Фальконе-старший написал письмо ее величеству с приглашением. Привожу ответ государыни: *«Милый, дорогой друг, рада за Мари и за Вас. С Вашим сыном я пока не знакома, но, по отзывам Бецкого и цесаревны, он человек способный и дельный; видела его портрет Натальи Алексеевны — очень, очень недурно. Дай им Бог счастья и детишек! Я сама заглянуть к вам на свадьбу не смогу, но подарок молодым пришлю непременно. Неизменно Ваша — Екатерина»*. И ни слова о памятнике.

День венчания выдался немного морозным (вот вам и апрель — это Петербург!), но на удивление солнечным. Несмотря на близость католического храма (а вернее, помещения, где велись службы, — храм никак не могли достроить), ехали в двух каретах, присланных из Конторы от строений. В первой были Пьер, де Ласкари, Чекалевский и Фельтен. Во второй — я, Этьен, Александр с маленькой дочкой и Лосенко. Возле храма нас поджидали разодетые гости, в том числе Гордеев, Хайлов и Екимов (ученик Хайлова, отливальщик), — в общей сложности человек двенадцать. Женщин, кроме меня и четырехлетней Николь, не было вообще. Это, конечно, нарушало католическую традицию: у невесты должны на свадьбе присутствовать три ее подруги — свидетельницы; но таких у меня не нашлось — да, имела знакомых, даже приятельниц, но, увы, только православных. Ну, да ничего. Я привыкла с детства жить в обществе мужчин.

Гости и свидетели вошли в храм и разделись, положив шубы и пальто на задние скамьи. Дочь Фонтена, в красном платье и с большим красным бантом на голове, очень волновалась от возложенной на нее миссии и все время теребила родителя, много раз повторяя, что ей надлежит совершить. Фальконе-старший исполнял роль моего отца, и ему предназначалось вывести меня к жениху; мы с ним не обмолвились ни единым словом.

Наконец, появился отец Жером в белом облачении с красным подбоем и приветствовал всех собравшихся. Заиграл клавесин, заменявший в храме орган, и Этьен торжественно повел меня к

алтарю. А чудесная Николь, словно ангелочек, семенила за нами и разбрасывала вслед лепестки роз из корзинки. Возле алтаря находился Пьер — чересчур серьезный и надутно-торжественный. Фальконе-старший соединил наши руки, произнес что-то вроде: «Будьте счастливы, дети мои», — и кивнул с улыбкой. Мы уселись на специальные маленькие скамеечки.

Как положено, священнослужитель провел литургию, зачитал кусочки из Святого Писания и минут десять разглагольствовал о значении церковного брака. А потом перешел к вопросам:

— Вы пришли во храм добровольно и является ли ваше желание венчаться искренним и свободным?

Мы ответили утвердительно.

— Вы готовы ли хранить верность друг другу и в болезни, и в здравии, в счастье и в несчастье, до конца жизни?

— Да. Да.

— Вы имеете ли намерение с благодарностью и любовью принимать детей, которых пошлет вам Небо, и воспитывать их согласно учению Церкви?

— Да. Да.

Удовлетворенный, отец Жером обратился к Духу Святому с просьбой снизить на молодоженов, а затем связал наши руки ленточкой. И сказал, чтобы мы, стоя лицом к лицу, дали супружеские клятвы. Пьер, взглянув на меня со строгостью, произнес:

— Дорогая Мари. Я безмерно счастлив. Гордость наполняет мне душу, ибо ты не только красивая молодая женщина, рассудительная и добрая, но еще и выдающийся скульптор. Обещаю беречь тебя и родившихся детей от всяческих невзгод. Ты не пожалеешь о сделанном выборе.

Я ответила:

— Дорогой Пьер. Благодарна тебе за эти слова. Постараюсь оправдать и твое доверие. Твой отец и ты стали мне родными. Я обоих вас не предаю никогда, что бы ни случилось. Да поможет нам Бог.

Фельтен подошел с красной бархатной подушечкой, на которой лежали обручальные кольца, ранее освященные Жеромом. Пьер надел мне мое кольцо на безымянный палец левой руки, а я — ему его. И отец Жером прочитал «Отче наш», Заступническую молитву и затем благословил нас. Мы торжественно расписались в церковной книге.

Снова заиграл клавесин, и под руку с моим новоиспеченным мужем я покинула храм, сделавшись мадам Фальконе...

Фальконе!

Но совсем иначе, нежели мечтала когда-то.

Странная насмешка судьбы. Я соединилась с Этьеном, стала законным членом его семьи, но всего лишь в качестве невестки. Не беда, пусть хотя бы так, лишь бы чувствовать его рядом, продолжать помогать, поддерживать. Без него я никто. Скульптором сделалась только его милостью. Он вдохнул в меня дух творения, как Всевышний наделяет бессмертной душой всех сущих. Он мой Бог. Не смогла я стать равной Богу, но зато осталась при нем, во служении Ему, в свете Его гения. И роптать поэтому не хочу, ни имею права.

Дома состоялось застолье, посреди которого вдруг возник генерал Бецкой и вручил нам подарки ее величества — мне большой золотой перстень с бриллиантом, а супругу — золотую булавку, тоже с бриллиантом, для галстука. Мы благодарили и просили Ивана Ивановича передать государыне, что безмерно польщены. Он садиться за стол не стал, выпил поднесенную ему чарку водки и, сославшись на занятость, быстро удалился.

Вскоре удалилась и я, чувствуя дурноту и слабость, поспешив отлежаться у себя в комнате. Полчаса спустя посетил меня Пьер. Был весьма нетрезв и, скабрёзно улыбаясь, спрашивал, состоится ли сегодня брачная ночь; я ответила глухо, что боюсь за ребенка, дважды переживала выкидыши и обязана поберечься; обронив трагически: «Жаль!» — и поцеловав меня в переносицу, благоверный мой скрылся. Я вздохнула с неким облегчением. И когда уже совсем успокоилась, начала задремывать, вдруг пришел Этьен. Сел на краешек постели и, с любовью глядя в мои глаза, нежно провел ладонью по запястью. Прошептал:

— Не сердись, Мари...

— Ах, помилуй, за что? — удивилась я.

— Ты сама знаешь. Это я во всем виноват.

— Ты ни в чем не виноват, дорогой.

— Нет, не говори. Старый я дурак. И Дидро советовал, а я не послушал... Дорогая, прости. — И заплакал, как маленький ребенок, горько, жалобно, с трогательными всхлипами.

Я заплакала тоже, приподнялась на кровати и прильнула к нему, моему единственному, беззаветно любимому.

Мы сидели, обнявшись, и тихо плакали.

Бесконечно счастливые от объятий друг друга — и одновременно бесконечно несчастные от всего, что произошло с нами.

12

Лето 1774 года было во многом непростым. Дело с отливкой памятника совершенно не двигалось, и Этьен страдал, нервничал, бесился, угрожал отъездом во Францию, а Бецкой, де Ласкари и Фельтен еле уговорили его остаться. Прежде всего, конечно, Бецкой (он сказал мэтру конфиденциально, что ее величество в интересном положении от Потемкина, чувствует себя не лучшим образом: все-таки беременность в 45 лет — дело непростое, и не хочет, чтобы слухи расползались по обществу, собирается уехать на полгода в Москву, где венчаться тайно со своим фаворитом, а потом родить; якобы сказала, что коль скоро все пройдет хорошо, по приезде в Питер сразу выделит деньги на отливку). Фальконе согласился, скрипя зубами.

Наконец-то Россия заключила мирный договор с Турцией. А войска на Урале окружили армию Пугачева и со дня на день собирались его захватить. Но зато в Малороссии, по рассказам, казаки были недовольны намечающимся смещением своего гетмана (у царицы был план отменить их вольницу и включить в Россию на правах обычных губерний), а справляться одновременно с Пугачевым и малороссиянами сил не хватало. Все боялись крупных беспорядков.

Потрясения были и в семейных делах. Александр Фонтен все-таки заставил свою жену полностью признаться, что она беременна от Поммеля, но великодушно простил после уверений супруги, что она раскаялась и клянется в грядущей верности; а зато состоялся резкий разговор мужа и любовника, переросший в драку; у литейщика оказался нож в руках, и Фонтен мог отправиться к праотцам, если бы Филипп не вмешался и не разнял драчунов. Оба отползли друг от друга, как побитые псы, утирая кровь и сукровицу. Продолжение последовало вскоре: мой приятель явился к Фальконе и потребовал изгнать своего соперника, поступившего, как последний негодяй. Мэтр

пытался успокоить резчика: личные дела не должны влиять на работу, можно ссориться сколь угодно на досуге, но служебные обязанности исполнять нужно подобающе. Александр упрямился: срок его контракта подходил к концу, и в сложившейся ситуации продлевать категорически не хотел. Заявил в запале: «Выбирайте, мсье Этьен — или я, или он. Если он, то по осени я отбуду с семейством в Париж». — «Стой, не горячись, — уговаривал помощника скульптор. — Он литейщик, предстоит литье, не могу отказаться от его помощи». — «Вы вполне справитесь с Хайловым и Екимовым». — «Нет, нужны дополнительные умелые руки». — «Значит, уезжаю в Париж». — «Не спешите, Фонтен, и позвольте улечься страстям, время вылечит». — «Я уже решил».

И действительно начал собираться в дорогу. Я пыталась тоже его отговорить: рисковать женой на восьмом или девятом месяце беременности, отправляясь в путь, чистое безумие, так как или растрясется в карете, или укачает ее на море. Но Фонтен твердил, что его это не волнует, потому что ребенок от другого мужчины, будь что будет. Мы фактически поссорились: я сказала, что не думала о нем как об этаким жестоким и черством человеке.

Собственные мои дела заставляли не думать о чужих передрягах: срок мой подходил в августе. И хотя животик был небольшой (все предсказывали рождение девочки) и беременность проходила относительно спокойно, под конец невыносимо болела спина, а младенец внутри толкался, словно недовольный, что его никак не выпустят наружу.

Схватки начались во второй половине дня 11 августа, я кричала в голос, не имея сил сдерживаться вовсе. Ближе к вечеру отошли воды. Надо мной хлопотал доктор-немец и две русские бабки-повитухи. Разум мой мутился от боли. Плохо помню в деталях, как оно все произошло, но в начале первого ночи 12 августа тишину прорезал плач родившейся малютки. Это вправду была девочка. С Пьером мы уговорились заранее, что дадим ей имя Мари-Люси. Я смотрела на нее, темно-красного цвета, с тонкими ручками и ножками, сморщенным личиком, и боялась, что произвела уродца, словно бы в Кунсткамере. Но меня заверили, что так должно быть, все в порядке, через несколько дней дочка побелеет и придет в положенную норму.

Час-другой спустя приложили ее к моей груди. Поначалу она сосала слабо, но потом вроде приохотилась и едва не укусила меня за сосок. Я смеялась от счастья. Жизнь казалась безоблачной. Мы ведь с Мари-Люси еще не знали, что серьезные наши испытания только начинались.

Глава девятая

НЕУДАЧНАЯ ОТЛИВКА

1

Пугачева казнили в Москве, и царица пережидала это событие на полпути из Петербурга, а потом въехала в старую русскую столицу со всей торжественностью. Для нее был заново выстроен деревянный дворец (жить в Кремле она отказалась), и, по слухам, тайно обвенчалась с Потемкиным. Тоже родила девочку, названную Лизой; а фамилию малышке дали Темкина (усеченная от «Потемкина», так же, как Бецкой — «Трубецкой»). Вскоре провели празднества в честь победы в турецкой войне, пышные, разгульные, и уже ближе к лету ее величество переехали в Царское Село. Фальконе ждал со дня на день посуленные ему деньги на отливку — и дождался! В середине июля средства поступили. Он ходил счастливый, балагурил, улыбался и, зайдя в детскую, тискал внучку. А Мари-Люси это нравилось, дедушку она полюбила и всегда смеялась при его появлении. Не была похожа ни на меня, ни на Пьера: толстенная, круглощекая, с пухлыми губами и крутым лобиком. Добродушная хохотушка. Плакала вообще мало, только поначалу — молоко вспучивало ей животик, и она страдала; но укропная водичка и вообще время вылечили ее. Кушала отменно, набирая вес. Обожала, если я или бабушка Петрова пели ей колыбельные песенки, не хотела засыпать без такого музыкального сопровождения. В доме называли ее по-русски — Машенька.

Пьер относился к дочери несколько опасливо — в первые недели даже брать на руки боялся, чтобы не уронить или не сделать больно. И хотя потом пообвык, иногда разгуливал с ней по комнате, укачивая, но особого интереса не проявлял. Может, потому, что его отвлекали собственные заботы: жизнь в Петербурге Фальконе-младшего складывалась непросто. Смог продать всего три своих картины, да и то по дешевке, а к преподаванию в Академии начал относиться спустя рукава, то и дело опаздывал, иногда уроки пропускал вовсе, каждый раз оправдываясь скверным самочувствием. Да, гнилая питерская

погода часто заставляла его сморкаться и кашлять, даже поднималась температура. Начал попивать и поигрывать в карты. Иногда заявлялся домой под утро и просил денег, чтобы рассчитаться с карточными долгами. Я ссужала сколько могла, а Этьен всегда кричал, обзывая сына мотом и нахлебником. Иногда они не разговаривали неделями.

Прошлой осенью Фонтен в Париж не уехал, в самом деле опасаясь не довести беременную жену домой, а она в сентябре родила мальчика, неуклюжего и толстого. Окрестили его Жераром. Чуть ли не в два месяца заболел скарлатиной и едва не умер, но врачам удалось сделать невозможное, и ребенок остался жив. Говорили, будто бы Поммель обращался к Александру с просьбой посмотреть на сына, даже предлагал денег, а когда получил решительный отказ, жутко разозлился и сказал, что семейство Фонтен еще пожалеет о своем упрямстве. Мы тогда не придали значения этим словам, а зря...

Где-то в начале лета 1775 года Пьер зашел ко мне после завтрака — от него все еще пахло свежесваренным кофе и ядреным сыром, самыми его любимым. Сел напротив и, закинув ногу на ногу, сообщил:

— Нам придется уехать из Петербурга, Мари.

Я опешила:

— То есть как? Что произошло?

У него белки глаз были красноватые — накануне снова проигрался, перепил, заявившись в спальню только утром. Посмотрел на меня недобро:

— То произошло, что Россия мне осточертела. Я в ней погибаю. И не только физически — ты ведь знаешь, без конца простужаюсь, — но и духовно, морально. Вдохновения нет, и писать картины не хочется, а готовые покупать не спешат. В Академии вообще катастрофа, половина учеников пьянствует, половина прогуливает занятия, а начнешь возмущаться, угрожать плохими оценками, обещают поколотить. Просто ужас. А в Париже я еще смогу возродиться, как птица Феникс из пепла, и Мари-Люси климат Франции больше подойдет.

Я пыталась собраться с мыслями. Наконец сказала:

— Ты во многом прав, несомненно, даже спорить не стану, и согласна вместе ехать на родину. Но прошу об одном: только после отливки памятника. Мы не можем бросить мсье Этьена в это сложное время. В августе отливка. Будем отцу опорой и поддержим по-

родственному. А в начале осени поплывем благополучно. Я надеюсь, ты рассчитываешь отправиться по морю, а не утомлять девочку в карете, преодолевая не один десяток границ?

Он кивнул рассеянно:

— Да, по морю... Да, конечно, по морю. Хорошо, в сентябре. В сентябре на Балтике не штормит, как правило. Не позднее сентября. Надо сказать папа.

— Нет, пожалуйста, только после отлива. Не волнуй его раньше времени, пусть сосредоточится на работе. Это дело всей его жизни. Нашей жизни. Мы войдем в историю только благодаря скульптуре Петра, понимаешь?

Мой супруг презрительно хмыкнул:

— А твои и мои таланты не в счет?

— Я оцениваю их объективно. Твой отец — титан, как Леонардо, как Микеланджело, мы же — никакие не выдающиеся, а обычные люди.

— Ну, не знаю, не знаю. Будущее покажет.

В общем, договорились. К плавке и литью подготовились к концу лета.

2

24 августа власти вновь предприняли меры предосторожности: оцепили квартал, навезли пожарные бочки с водой и готовились потушить любое возможное возгорание. Фальконе, Хайлов и Екимов находились каждый на своем месте — возле формы и патрубков, а Поммель и два других помощника около плавильной печи. Закипевшая бронза раскалила кирпичи до такой степени, что дышать в мастерской стало невозможно, но снимать кожаные фартуки и трехслойные рукавицы все боялись, чтобы не обжечься брызгами металла. Наконец, отверстия в печи были пробиты, и расплавленная масса хлынула по трубам в форму. Печь гудела. Трубы шевелились, как живые. Поначалу никаких отклонений от нормы не наблюдалось, Хайлов успокаивал Фальконе — дескать, не волнуйтесь, мусью, все идет по правилам. И, как говорят русские, сглазил! Где-то во второй половине процесса лопнула одна из труб. Бронза потекла на пол (благо не на ноги

отливщикам, из-за предусмотренных бортиков). Тем не менее все отпрянули, первым выскочил наружу Поммель, вслед за ним остальные, кроме Емельяна: Хайлов сдернул с крючка свой армяк, окунул в воду с мокрой глиной и прижал с силой к лопнувшей трубе. Но, конечно, обварил себе руки и левую ногу...

Несколько критических минут миновали. Бронза в трубах кончилась. Мэтр, вернувшись в мастерскую и увидев покалеченного мастера, зарыдал и обнял его, как брата. Приказал Екимову увести Хайлова к доктору. А спустя несколько часов после застывания сплава вместе с остальными начал очищать отливку от формы.

Что сказать? Зрелище оказалось безрадостным... Нет, вся нижняя половина лошади, круп и основание шеи, Петр по грудь вышли идеально; но оставшаяся, верхняя часть статуи, на которую металла уже не хватило, получилась увечной. Фальконе пребывал в растерянности, совершенно убитый.

В это время появились Екимов и хромающий Хайлов с забинтованными руками. Осмотрев результаты своих трудов, Емельян Михайлович обнадеживающе сказал:

— Ничего, не беда, мусью Фальконе. Ведь могло быть и хуже. Верх мы отпилим аккуратненько, а потом отольем отдельно. И спаяем так, что комар носу не подточит.

Мэтр ответил:

— Охо-хо, дорогой мой друг, так-то оно так, да не совсем так. И Бецкой, и Екатерина непременно узнают о неудаче. Станут недовольны и начнут сетовать. И еще не известно, согласятся ли на вторую отливку. Это ж новые деньги и новое время. Еле раздобыли рубли на нынешнюю бронзу, а теперь подавай нам еще. Нет, не знаю, что и подумать. Скверно, очень скверно. Как вообще могла труба лопнуть? Мы ведь проверяли десятки раз.

Хайлов подошел к несчастному патрубку и, нагнувшись, осмотрел со всех сторон. А потом крикнул:

— Ничего себе! Да ея ж подпилили!

— Как подпилили? Быть того не может!

Бросились разглядывать. И действительно обнаружили спил с нижней стороны.

— Кто-то специально... чтобы навредить...

— Да, но кто?!

Обернулись к Поммелю — он ведь спал в мастерской, завалившись на скамью около печи. Тот, конечно, начал уверять: ничего не видел, ничего не слышал. А Екимов ему: значит, ты и подпил! Началась драка, их едва растащили. Отдышавшись, Поммель объявил, что немедленно уезжает во Францию, так как не потерпит обвинений и подозрений, умывает руки, лейте как хотите. И никто, в том числе Этьен, не пытался его остановить...

Фальконе рассказал мне эту историю, случившуюся днем, ближе к вечеру, возвратившись из мастерской (я сама, конечно, при литье не присутствовала, занимаясь дочкой). Мэтр сидел измученный, бледный, не хотел ни пить, ни есть. Еле уговорила его похлебать ботвинью (легкий русский суп из ботвы свеклы, характерный для летней кухни), а потом выпить кофе. Он, переставляя ноги с трудом, удалился к себе в кабинет, чтобы написать отчет для Бецкого. На душе было горько, скверно. Неужели мы с Пьером уедем из Петербурга, не дождавшись установки памятника Петру? Столько времени, сил и нервов псу под хвост? Жизнь не удалась? Половину ночи не могла уснуть, мучимая безрадостными вопросами. Даже то, что муж явился домой в три часа утра, мало взволновало меня. Я ведь думала не о нем, а об Этьене...

3

Собранная Бецким комиссия, возглавляемая им самим (а еще Фельтен, де Ласкари, Чекалевский), осмотрев полученную отливку, заключила: надо переливать заново. Впрочем, мнения разделились: Фельтен и Чекалевский поддержали идею Хайлова — ограничиться только верхней, неудавшейся, частью и затем припаять к нижней, а Бецкой был категоричен — отлить целиком, пригласив для этого новых мастеров из-за рубежа. Де Ласкари, разумеется, присоединился к мнению шефа. Окончательное решение оставалось за императрицей.

Ждать пришлось недолго: государыня возвратилась из Царского Села отдохнувшая, жизнерадостная и ничтоже сумняшеся согласилась с Фальконе и компанией — лить недостающую часть, даже выделила деньги из собственных средств. Недоброжелателям оставалось только замолчать; но Бецкой затаил обиду — мы узнали об этом позже...

У Этьена снова загорелись глаза, он ходил обнадеженный, будто помолодевший, и, когда у Хайлова зажили травмированные руки и нога, начал с ним готовить новое литье.

Тут опять мой супруг заявил, что желает уехать. Я просила, умоляла его буквально, чуть ли не стоя на коленях, поддержать отца в трудную минуту, но на этот раз Пьер не соглашался никак. А во время очередных наших препираний предложил:

— Так и быть, Мари, оставайся с дочкой в России до следующего лета. Я уеду пока один. Подготовлю в Париже к вашему приезду квартиру и начну наконец плодотворно работать. Обеспечу нашу совместную жизнь во Франции.

Я засомневалась:

— Ты серьезно этого хочешь? И не станешь потом упрекать меня, что приехала на год позже? Говори честно.

Он кивнул:

— Честно говорю: никаких претензий предъявлять не намерен. Следующим летом ты приедешь с Машенькой, и у нас все устроится.

— Хорошо, я тогда согласна. Более того, обещаю: вне зависимости от новой отливки, мы покинем с дочкой Петербург не позднее июня семьдесят шестого года. И надеюсь, императрица не откажется от выплачиваемого мне пожизненно пенсионна — этих денег (ну, и тех, что уже лежат на моем счету в банке) хватит нам для нормальной семейной жизни. Даже если у тебя на первых порах приключатся трудности с продажей твоих картин.

Пьер ответил:

— Ну, уж нет: быть у тебя нахлебником я не собираюсь.

— Ладно, как говорят русские: свои люди — сочтемся.

Уезжал он вдвоем с Поммелем. Правда, прямой корабль в Гавр им не подвернулся, и они купили каюты на голландском торговом судне «Роттердам», следующим в Амстердам. Море было тихое, но похолодало прилично, и Мари-Люси без конца чихала, так что я с ней осталась дома, а Этьен поехал проводить отпрыска один. Я простилась с мужем тепло, но сдержанно, обнялась и поцеловалась без особого чувства (накануне он и Поммель сильно загуляли, и от них обоих пахло перегаром убийственно). Дочка, не понимая, что отец уезжает надолго, отнеслась к его отбытию равнодушно.

Возвратившийся Фальконе-старший рассказал, что корабль ему понравился — новенький, надежный, и команда шустрая. Он поднялся на борт, и в каюте Пьера они выпили, называя по-русски, «на посошок» (Поммеля не звали — мэтр с ним не разговаривал после инцидента с трубой). Пьер пообещал, что вести себя в Париже будет достойно, никаких карт и вина, только творчество и устройство будущего семейного гнездышка. Даже показал изложенный на осьмушке бумаги план первоочередных своих действий по приезде, и отец их одобрил. И сказал мне: «Мальчик, кажется, повзрослел и берется за ум». Я ответила, усмехнувшись: «К тридцати пяти годам — самое тому время», — но Этьен посмотрел на меня с укором, и моя ирония оказалась некстати.

Как ни странно, дом без Пьера выглядел опустевшим. Я бесцельно ходила по комнатам, вроде ощущая определенную грусть, думала: неужели полюбила Фальконе-младшего? Может, в самом деле стоило уехать вместе с ним? Уж не проявление ли детскости с моей стороны — бесконечная привязанность моя к Этьену? Для чего я держусь за него? Что он мне дает? Лучше, чем было, точно не будет. Тот этап жизни кончен. Надо строить семью отдельно. Да, Пьер неидеален, но сложилось так, что мы стали супругами перед Богом, и у нас ребенок. Значит, я должна поддерживать в первую очередь его, а не свекра. И пора уже вырвать с корнем прежние свои чувства к мэтру. С сожалением, но перевернуть прочитанную страницу.

Надо, надо ехать к Пьеру в Париж. И как можно раньше. Не теперь, конечно, глядя в зиму, а, к примеру, будущей весной. Вместе с выводком Фонтена. Разумеется! Александр наконец-то определился с отъездом и наметил его на март 1776 года. А я с ним! В самом деле — как отправиться одной с дочкой? А в компании веселее и спокойнее.

Умиротворившись, я пошла к своему давнему товарищу в гости. Мне открыла их горничная и сказала, что хозяева плохо себя чувствуют и велели не принимать никого. «Может, сделают для меня исключение?» Несколько смутившись, та пообещала спросить и скрылась. Через несколько минут появился сам Александр в домашней курточке и с замотанным шарфом шеей. Еле говорил:

— Извини, Мари... мы болеем все... Первым простудился Жерар... вслед за ним Николь... а потом и мы... хуже всех бабушке, был озноб, и пришлось кровь пускать... Но теперь ей легче.

— Я не знала, прости. Ну, тогда не стану вас беспокоить, загляну как-нибудь попозже.

— Пустяки. Раз уже пришла, оставайся. Посидим, выпьем чаю и поболтаем... Что-нибудь случилось?

Мы прошли в столовую, и служанка со слугой поставила самовар.

— Ничего такого, просто Пьер и Поммель уехали, мне хотелось с кем-то поделиться — мыслями и планами...

— Вот и замечательно. Угощайся. Очень вкусное малиновое варенье. Пирожки с вязигой.

— Я попробую, ты не хлопочи.

Сообщила, что хочу уехать вслед за мужем будущей весной, и спросила, не позволит ли он присоединиться к его семейству мне и Машеньке? Александр воскликнул с живостью:

— Ну, конечно! Превосходная мысль. Главное, перетерпеть новую зиму в Петербурге, а уж в марте поплывем, не откладывая. Детки подрастут, и не будем опасаться за их здоровье. — Неожиданно закашлялся, и минуты две не мог говорить. А когда успокоился, хрипло произнес: — Жаль бросать Фальконе одного, но уж больно дело затянулось, ждать второй отливки невыносимо.

— Он и Хайлов работает вовсю.

— До весны отлить не успеют. И весной вряд ли. В лучшем случае — летом.

— Мы уедем раньше.

— К сожалению, да. Или к счастью.

Прибежала взволнованная горничная:

— О, мсье Александр — у мадам Вернье обморок.

— Ах ты Господи! Быстро за врачом.

Доктор определил, что случился удар. Вскоре удалось привести ее в чувство, но она плохо говорила и плохо понимала, что происходит. Ей требовался покой.

Возвращаясь домой, я мучительно думала, что же с нами со всеми будет. И не находила ответа.

«Дорогая Мари. Я доехал благополучно. Мы с Поммелем на корабле чуть-чуть по пьянствовали вначале, а когда вино кончилось, перейти на ром не рискнули: у меня от него колики в желудке, а попутчик мой был стеснен в средствах. В Амстердаме расстались: он решил задержаться и поработать в литейных мастерских, я же сел в карету, милостиво предоставленную мне в русской миссии графом Голицыным, прибыл в Брюссель, а оттуда уже в Париж. Снял на первое время квартирку около Сорбонны, а потом подыскивать стану к вашему приезду побольше. Осень во Франции теплая — то, что в Петербурге называется “бабье лето”. Поцелуй от меня Машеньку. Любящий твой супруг Пьер».

** * **

«Дорогая моя сестренка! Пьер Фальконе, побывавший у нас позавчера, передал мне письмишко от тебя. Очень рад, что и ты, и дочка в полном здравии, и дела у тебя идут неплохо, а на будущий год собираешься вернуться дамой. Дай-то Бог! Мы за эти десять лет сильно изменились, так что, может быть, и не узнаем в первый момент друг друга. Смешно! У меня тоже все в порядке, в магазине торговля бойкая, шьем и на заказ много, дорожим постоянными клиентами. Дети учатся, а болеют редко. У Луизы стало плохо с глазами, и врачи прописали ей очки, но и в них шьет она с трудом, а читать не может вовсе. Но зато Марго хлопочет по дому за двоих. Муженек ее отсидел в тюрьме за крамольные речи на одной из лекций в Сорбонне, и вернулся хромым — простудил в холодной камере колено. Так что пришлось еще тратить деньги на его лечение. Ходит уже неплохо, но с палкой. Очень злой на всех, и особенно на власть предержащих, как бы снова не загремел в кутузку! Твой супруг мне в целом понравился, человек образованный и с понятием, одевается, как аристократ, говорит красиво. Но просил денег, так как издержался в дороге. Я ему ссудил тысячу ливров. Лишь бы не пропил! Помогать по-родственному мы всегда готовы, но на дело, а не на всякое баловство. Ты меня, надеюсь, понимаешь. А за сим прощаюсь. Очень тебя люблю, сестренка, с умилением вспоминаю наши детские годы и

любить всегда буду, возвращайся скорее. От моей родни низкий тебе поклон. Твой брат Жан-Жак».

Говорили, что великая княгиня Наталья Алексеевна наконец-то понесла. Якобы Екатерина II без конца сетовала, что невестка не тяжелеет и никак не подарит бабке внука. И свершилось! Ждали появление первенца по весне 1776 года. А потом — неожиданное известие: роды прошли неудачно, мать и младенец погибли. Вот те раз! Отчего? Лучшие лекари при дворе не смогли помочь?

Сразу поползли нехорошие слухи. Вроде императрица, недовольная тем, что невестка накручивает наследника — почему мать не отдает престол сыну по закону, — повелела Потемкину придержать акушеров и повитух, те и проявили преступную беспечность. А потом царицей были щедро награждены... Правда или нет — Бог весть. Если правда — на душе становилось не по себе: неужели человек ради власти, трона может пойти на фактическое убийство? И кого — собственной снохи при рождении внука! Помня обаяние ее величества, мягкость голоса, доброту, совершенно в это не верилось. Но, с другой стороны, ведь смогла же Екатерина приказать четвертовать Пугачева? Разве не с ее молчаливого согласия был убит Петр III, император? Удивительно, как в одной милой даме уживалось столько личин. Или абсолютный монарх по-другому не может? Значит, прав Дидро, выступая за конституционную монархию?

Петербургскую зиму 1775/76 годов пережили со сложностями. Выпали из нашего круга несколько человек. Первой умерла мадам Вернье, так и не сумевшая оправиться после удара. На Филиппа было больно смотреть — сильно переживал из-за смерти любимой женщины (да и годы брали свое). Все старались как-то его утешить. Вскоре, после Масленицы, отдал Богу душу отставной поручик Петров, наш домоправитель. Переел блинов, и случился заворот кишок. Вслед за ним, сущую неделю спустя, не снеся потери, испустила дух и его супруга. Дом осиротел. И один Филипп справлялся с трудом с обязанностями чистить, мыть, прибирать и носить еду. Я по мере возможностей ему помогала.

Часто и Этьен заговаривал о смерти. Опасался, что не сможет довести памятник Петру до конца. В декабре ему должно было исполниться шестьдесят лет, и хотя он выглядел натурально моложе, тем не менее возраст сказывался на его характере и поступках. Стал прогуливаться меньше. Часто засыпал, сидя у себя в кабинете за письменным столом. И читал в очках. А однажды, это было в марте 1776 года, он зашел ко мне в комнату без стука, чем весьма напугал и озадачил, и спросил с дрожью в голосе:

— Правда ли, Мари, что в конце весны ты намерена уехать?

Честно говоря, я не знала, что ему ответить, видя душевное состояние мэтра.

— Почему ты решил, Этьен?

— Мне сказал Фонтен. Приходил ко мне, чтобы взять окончательный расчет — через месяц он с женой и детьми отбывает во Францию. Якобы и ты собралась вместе с ними.

Попыталась выкрутиться:

— Видишь ли, какая история... Обещала Пьеру, что приеду с Машенькой не позднее нынешнего лета. А потом подумала, что с Фонтенами будет мне спокойнее и надежнее. Он не возражал... Но пока окончательно ничего не решила.

Тяжело опустившись на стул напротив меня, Фальконе глухо произнес:

— Не бросай меня, Мари. Я не отрицаю — твой супружеский долг, и все такое... А с Фонтенами ехать и спокойнее, и надежнее... Но подумай и обо мне. Как я здесь один, всеми брошенный? Кроме как с Филиппом и поговорить не с кем... От одной этой мысли прихожу в отчаяние... — Он сидел сторбленный и такой беспомощный, будто бы ребенок, потерявший родителей. — Может быть, удержишься? Ну, хотя бы до окончания нового литья? А потом отпущу тебя, по-отцовски благословив...

Сердце мое сжималось от жалости к нему. Не смогла сказать: «Нет, Этьен, все-таки поеду». Потому что эти слова потрясли бы его. Вдруг бы заболел? И великий памятник великому Петру был бы брошен почти готовый? Не имела права. Существуют ситуации, при которых забываешь о личном. Я решила остаться во имя главного — окончания монумента.

Взяв Этьена за руку, мягко произнесла:

— Хорошо, сделаю, как ты просишь. И дождусь второй отливки.
У него вспыхнули глаза, и лицо расцвело улыбкой. Обнял меня проникновенно.

— О, Мари! Ты чудесная женщина. Как я благодарен тебе!

Потеревшись щекой о его плечо, попросила вкрадчиво:

— Но одно условие...

— Да? Какое? — Фальконе удивился.

— Ты напишешь во Францию Пьеру сам. Скажешь веское слово как родитель. Потому что моим словам не поверит и разозлится.

— Разумеется, напишу ему. Он поймет, он неглупый мальчик.

— Не уверена, если честно...

— Не уверена, что неглупый?

— Не уверена, что поймет.

(И как в воду глядела: забегая веред, скажу, что проклятий на мою голову вылился не один ушат; наш с Мари-Люси неприезд сделался началом семейной драмы; но об этом позже.)

А пока проводила Фонтена. Он собрался полностью ближе к маю. Ехали они вчетвером — двое взрослых и двое детей. Впрочем, Николь вела себя как почти взрослая, помогала матери заботиться о маленьком братике. После вторых родов Анна располнела, и ее мучила одышка. А сварливый характер только усугубился, беспрестанно ругала мужа — уж такой он нескладный, увалень, тюфяк, ротозей и мямля. Александр обычно пропускал ее колкости мимо ушей, не воспринимал, но периодически вспыхивал и кричал на жену: «Замолчи! Сколько можно меня пилить? Хочешь, чтобы я разозлился? Сбросил в море с корабля?» Видимо, пугаясь, благоверная замолкала, но через короткое время снова начинала зудеть.

Плыли они на русском корабле, направлявшемся в Пруссию для переговоров с королем Фридрихом II, отыскавшим для Павла Петровича новую невесту. (Судя по всему, матушка-императрица посчитала нужным отвлечь наследника от невзгод и траура новой женитьбой.) За Фонтенов похлопотал Фальконе через Бецкого, и семье резчика отыскалась каюта. А домашний их скarb занимал не слишком много места.

Попрощались на пристани, возле сходней. Александр, несмотря на то что ехал домой, во Францию, к сестрам, зятю, племянникам и,

вообще, к родным пенатам, выглядел немного растерянным и каким-то всклокоченным. Обещал писать. Фальконе сказал:

— Мэтр Лемуан ждет тебя. Сообщал, что хочет передать бразды правления своей мастерской. Это хороший шанс быстро встать на ноги.

— Да, да, — соглашался Фонтен, — он всегда был добр ко мне. Хоть и строг. Но теперь, с годами, наверное, подобрел.

Я просила:

— Поцелуй брата от меня. Передай письмо и деньги. Пусть на них купит гостинцы детям.

— Ты сама-то когда?

— Вскоре после новой отливки шефа. Мы договорились. И пожалуйста, повлияй на Пьера, если его увидишь. Чтоб не злился на меня. Обязательно приеду, только чуточку позже.

— Если увижу — постараюсь.

Время пришло к отплытию. Мы обнялись, как братья, как добрые друзья. На глазах Александра даже блеснули слезы. Он проговорил:

— Мсье Этьен, Мари... Я благодарю вас за все. Мне с вами было очень-очень... — Он осекся. — Вы же члены моей семьи... Оставайтесь с Богом. Чтобы осуществить все ваши планы. И тогда — в Париж! Жду вас с нетерпением.

— С Богом, с Богом! — перекрестил его Фальконе. — Доброго пути. Береги жену и детей.

— До свидания!

Он спустился в шлюпку, обернулся, помахал нам рукой. Мы махали ему в ответ.

Долго еще смотрели, как скользит шлюпка по волнам к кораблю, а потом корабль, снявшись с рейда, выплывает в открытое море. Я вздохнула:

— Все нас покидают. Десять лет в России. Не любой француз выдержит.

Мэтр усмехнулся:

— Да уж, верно. Я и сам бывал на грани отчаяния. Но теперь, слава Небесам, завершение близко. Сделаем вторую отливку и переведем дух. Там уже останутся сущие пустяки.

Мы шагали к карете, взяв друг друга под руку. Я произнесла риторически:

— Кто-нибудь из потомков сможет ли оценить наши муки? Думаю, что вряд ли. Жизнь возьмет свое, и про нас забудут. Кто такой Фальконе, кто такая Колло? И не вспомнят.

Но Этьен был серьезен и сказал без иронии:

— Вспомнят, вспомнят. Будут смотреть на наш памятник и наверняка вспомнят. Ну а если памятник снесут, то останутся копии, рисунки. Мы ведь знаем по копиям и рисункам о великих творениях Фидия и Мирона. Нет, Мари, мы живем не напрасно. Коли Бог так решил.

Я согласилась:

— Да, ты знаешь, я порой ощущаю Его присутствие. Вроде кто-то переставляет нас, как шахматные фигуры. Вроде жизнь наша предначертана, и мы следуем этим предначертаниям.

Он ответил:

— Так оно и есть. И не «кто-то», а Бог.

6

Между тем мои слова о короткой человеческой памяти получили новое подтверждение в следующих событиях: не прошло и 40 дней после кончины бедной Натальи Алексеевны и ее нерожденного ребенка, как покойные были напрочь уже забыты, и посланцы императрицы, оказавшись в Пруссии на приеме у Фридриха II, обсуждали возможность его новой свадьбы. Прочили в невесты Павлу Петровичу юную принцессу Вюртенбергскую Софию Доротею, по рассказам — симпатичную блондинку, образованную и очень домашнюю. Тем же летом великий князь лично отправился в Берлин для знакомства. И спустя месяц объявили о свершившейся помолвке. Вот вам и память, вот вам и любовь — а какие, помнится, были торжества, как все пели о прекрасной великокняжеской чете, — сгинуло, забыто, словно бы и не было. Новая любовь, новые песнопения... Говорили, что на этот раз матушка императрица полностью довольна невесткой. В православии молодая немка получила имя Мария Федоровна. И разительно отличалась от предшественницы — говорила мало, больше слушала, одевалась всегда с иголочки, никогда не выходила в домашнем — только в

парадном платье и смогла овладеть русским языком очень быстро. И уже в начале 1777 года понесла...

Я, однако, забегаю вперед. Надо же рассказать, почему мое возвращение к галльским петухам слишком затянулось.

Первая причина — и самая главная — это проволочки с новой отливкой. Фальконе пришлось восстанавливать поврежденную после первых слепков гипсовую модель памятника. Только ее окончил — заболел Хайлов: если обожженные его руки зажили быстро, то, напротив, рана на ноге без конца открывалась и намокала. Дело дошло до разговоров об ампутации. Но нашли какого-то деда-вепса, знахаря, якобы совершавшего чудеса исцеления, и действительно, ему удалось вытяжками из полезных трав и какими-то волшебными заклинаниями повлиять на болезнь — рана затянулась, корочка отпала, и на коже остался только легкий розовый рубец. Деда наградили по-царски, но благоприятное время для отливки было уже упущено — на дворе стоял декабрь 1776 года. А какая отливка посреди зимы? Приходилось ждать потепления.

Разумеется, Пьер в Париже бесчинствовал и писал мне непристойные вещи: обвинял в том, что я опять якобы сошлась с его отцом и поэтому не хочу во Францию ехать, даже начал сомневаться, от него ли Мари-Люси, и в конце концов заявил — если я не приеду в марте-апреле 1777 года, между нами все кончено. Фальконе-старший и я умоляли его уговориться и еще немного потерпеть, новое литье состоится вот-вот, и тогда... Слали ему деньги, чтобы как-то задобрить. Деньги, разумеется, брал, но ворчать не переставал.

Неожиданно Бецкой передал мне через мэтра новый заказ императрицы — мраморный бюст Марии Федоровны, для чего меня приглашали в Зимний. Я поехала в поданной карете. Вновь, как и три с половиной года назад, провели через анфиладу комнат, где располагался «малый двор», и ввели в будуар ее высочества. Вскоре вышла великая княгиня. В парике, затянутая в шелка и корсет (несмотря на то что, по слухам, находилась уже на четвертом месяце), с легким гримом на лице. Улыбнулась мило. И спросила по-русски, хоть и с акцентом:

— Как вы поживаете, мадам Фальконе? Рада вас видеть. Получить от вас мой портрет — честь для меня.

— А работать над вашим портретом — честь для меня.

Обе рассмеялись.

— Как мне сесть?

— Как желает ваше высочество. *Я не* отниму много времени. Сделаю лишь несколько грифельных набросков, а лепить стану у себя в мастерской.

— Разве вы не будете сразу высекать из мрамора?

— О, конечно, нет. Вылеплю вначале из глины, покажу вам, великому князю и ее величеству. Ежели одобрите, то перенесу в мрамор.

— Хорошо. — Сидя против меня и позируя, мягко перешла на французский: — Как вам здесь живется, в России, мадам Фальконе?

— В целом неплохо. Поначалу все казалось в диковинку, но потом привыкла. Тут родилась доченька моя. Я уже больше думаю по-русски, чем по-французски.

— Я стараюсь тоже. Но пока еще думаю по-немецки, а потом мысленно перевожу на французский или русский. Муж доволен моими успехами в русском языке.

— Поздравляю. Русский язык намного грубее французского и итальянского, но фольклорные песни очень музыкальны и поэтичны.

— Да, да, я заметила, — согласилась Мария Федоровна. — Часто заставляю моих русских фрейлин петь народные песни. Очень обогащают мой словарный запас.

Разговор наш тек непринужденно и, не побоюсь сказать, вполне душевно. Не было в великой княгине той фанаберии, что бывает свойственна немецким аристократам. Мы в тот день расстались почти подругами.

Над ее портретом мне работалось чрезвычайно легко. До конца апреля глиняный эскиз был уже готов. В деревянном ящике отвезли его во дворец. Вскоре получили обратно с комментариями Бецкого. Он писал, что работа одобрена, пожелания следующие: сделать лоб повыше, а подбородок поменьше, нижнюю губу не слишком выпячивать, брови приподнять; остальное сделать как есть. Я взялась за мрамор. Делать это без помощи Александра Фонтена, виртуозного резчика, было трудновато, но Этьен часто выручал — и советом, и делом. В общем, справилась к середине лета. Отвезли скульптуру в Царское Село, а спустя неделю флигель-адъютант мне доставил благодарственное письмо от ее высочества и бриллиантовое кольцо. До

сих пор храню его среди моих драгоценностей — после смерти перейдет в наследство дорогой Машеньке.

Но, конечно, время возвращения к мужу было снова упущено. Как могла, успокаивала его в письмах. Отвечал он сдержанно и редко. В основном просил денег; мы с Этьеном слали сколько могли, а ему, видимо, казалось этого мало и просил еще и еще. Даже однажды написал: не согласна ли я сочинить доверенность, по которой он смог бы распоряжаться моим счетом в банке (тем, что брат открыл на мое имя и куда клал мои деньги, отсылаемые ему из России за десять лет). Опасаясь, что муж их прокутит до последнего сантима, вежливо, но твердо отказала ему. Пьер обиделся и прервал нашу переписку...

Наконец, Фальконе-старший и Хайлов полностью изготовили форму для отливки верхней половины памятника. Начиналось самое главное...

7

Вновь предприняли меры пожарной безопасности: по периметру мастерской стояли войска, по команде готовые броситься тушить вспыхнувшее пламя (завезли специально емкости с водой), жителей окрестных домов и чиновников близлежащих учреждений эвакуировали. Я и дочка тоже покинули наше обиталище, от греха подальше, и устроились в кофейне на Невском, сняв отдельный кабинетик, где я читала Машеньке сказки Шарля Перро по-французски. Чтение по-русски и по-французски девочка необычайно любила. Ей тогда уже был четвертый годик, и она свободно болтала на двух языках, правда, не совсем правильно выговаривая некоторые буквы. (Между прочим, называла Этьена не дедушкой, а папа.) Мы уговорились с Фальконе-старшим, что когда отливка будет закончена, Фрол, молодой помощник Хайлова, прибежит к нам и известит о финале операции.

Время тянулось медленно. Я уже и выпила две чашечки шоколада (дочка — молока), и прочла сказки, и загадывала ей русские загадки целых полчаса, наконец Мари-Люси, утомившись, прикорнула на диванчике, а посыльный никак не шел. Дождалась, слава Богу: Фрол возник на пороге кабинетика запыхавшийся, взволнованный, кланялся

и улыбался: «Ваша милость, велено передать: все в порядке». Я, не выдержав, бросилась к нему и схватила за руки:

— Расскажи, расскажи, как оно прошло.

Он слегка смутился:

— Да чего ж рассказывать, ваша милость? Никаких неприятностей, как тогда, не случилось. Трубы с формой выдержали металл. Ноне застывает. Печку загасили, можно возвратиться.

— Вот спасибо за хорошие новости, — и вручила ему серебряный рубль.

Фрол вначале отказывался, но потом принял с благодарностью. Дочь еще спала, он понес ее на руках.

Дома я оставила Машеньку под присмотр Филиппа (утром он категорически отказался покидать помещение на время отливки, заявив, что будет выносить вещи в случае пожара, коротая время игрой на заветной свирельке) и стремглав побежала в литейную мастерскую. Оцепление уже сняли, бочки с водой увозили, жители и чиновники расходились по своим местам. Хайлов, Екимов и Этьен сидели по лавкам, потные, усталые. Фальконе вроде не обрадовался моему появлению, как-то вяло бросил:

— А-а, это ты... Как малышка?

— Спит. А вы? Получилось все-таки?

— Ох, боюсь загадывать. Трепещу, аж поджилки трясутся. Если снова брак, я не вынесу и повешусь.

— Ну, ну, мсье мэтр, прочь уныние. Все будет хорошо.

— Все в руках Божьих.

Предложила им пойти пока пообедать, но они отказались. Ждали затвердения бронзы несколько часов. Встали, перекрестились, и Екимов с другими помощниками начал разбивать и отколупывать форму. Корка трескалась, осыпалась. Неожиданно из нее распростерлась правая рука императора — правильно отлитая, каждый палец в целости, мы от счастья ахнули, я и Фальконе обнялись. Дальше — больше: голова лошади, грива и вторая рука всадника... Вот последний взмах молотка — шум опадающих кусков формы, — и увидели голову Петра («мою» голову! — или почти «мою»!) — грозную, воодушевленную, гордую. Господи! Свершилось! Верхняя часть памятника оказалась отлитой безукоризненно. Только небольшие зазубрины и «отростки» (это остатки труб, по которым бежал

расплавленный металл) — зачищай, чекань, спаивай оба фрагмента и уже можно устанавливать! Радости нашей не было границ. Все обнимались, целовались, без различий званий и чинов, плакали от радости и смеялись, поздравляя друг друга. Фальконе пригласил всех в дом — наконец-то пообедать и выпить. Бурное застолье продолжалось у нас до самой ночи...

А когда гости разошлись и Филипп, сам изрядно выпивший, собирал со стола объедки и посуду, мэтр взял меня за руку, заглянул в глаза и спросил:

— Ну, Мари, твой единственный предлог, чтоб не ехать в Париж, отпал. Значит, уезжаешь?

Я не знала, что ему ответить. Просто обняла и, уткнувшись носом в его воротник, горько-горько расплакалась.

Глава десятая

К РОДНЫМ ПЕНАТАМ

1

Ехать страшно не хотелось. Хоть и собиралась в дорогу, но очень медленно, без малейшего желания. Радовалась каждой возможности отложить путешествие — то отсутствие подходящего корабля, то простуда дочки, то простуда Фальконе-старшего. В общем, дотянула до зимних холодов, окончательно решив отправиться в марте 1778 года.

А работа над статуей замирала только в сильные морозы — в остальное время не прекращалась ни на день. Мэтр привлек своего знакомого — часовых дел мастера из Швейцарии Альфреда Сандоза (или, по-немецки, Сандоца) — он чинил куранты на башне Петропавловской крепости после давнишнего пожара. Часовщик обследовал статую на предмет микротрещин и скрытых полостей и пришел к положительным выводам: можно без боязни чеканить и зачищать. Сам Альфред был весьма колоритной личностью: здоровяк с короткой бородкой, весь седой, и глаза хитрые. Подарил Фальконе карманные часы, где на крышке значилось название его фирмы — *Alfred Sandoz*. За свою работу с курантами брал с властей немалые деньги, а Этьену помогал совершенно бесплатно. И по-русски выучил только два слова: «спасибо» и «водка». Уговаривал мэтра:

— А поехали к нам, в Швейцарию? Черта лысого вам сдалась эта Франция? Купите или выстроите шале, будете коротать старость на альпийских лугах. Это ж сказка!

Скульптор отвечал, улыбаясь:

— Нет, селиться в Швейцарии не хочу. Я родился во Франции и хочу умереть во Франции. А вот в гости приеду с удовольствием.

И Сандоз говорил Филиппу:

— Водка, водка! — А когда слуга для хозяина и часовщика приносил графинчик, две рюмки и два соленых огурчика, заключал: — Спасибо, спасибо!

Время шло незаметно: не успела оглянуться — на дворе уже декабрь 1777 года. В императорской семье случилось прибавление — появился первенец, мальчик, названный по желанию бабки, Екатерины II, Александром. Говорили, что прочит ему великое будущее — станет вровень с Александром Македонским и Александром Невским (мы и думать не могли в то время, что, действительно, этот младенец, став впоследствии русским императором, во главе своей армии покорит Париж!). А в моей личной жизни тучи неизменно сгущались: Пьер, обидевшись, что не еду к нему и не разрешаю пользоваться счетом, перестал писать совершенно. И когда получила письма от брата и от Фонтена, мне и вовсе стало не по себе. Вот отрывки из их посланий.

«Дорогая сестренка, я уже и прежде сообщал тебе, что твой муж, Пьер Фальконе, приходил ко мне и просил займы. Я ему ссудил, не особенно рассчитывая на возврат, так оно и случилось: заявился недавно как ни в чем не бывало, но не для возврата долга, о котором и речи не было, а с настойчивой просьбой разрешить ему распоряжаться твоими деньгами в банке. Был явно подшофе. Я ему ответил: не могу, так как сам не распоряжаюсь твоим счетом, только кладу поступления твои из России. Пьер вспылil, обозвал меня и тебя мерзкими словами, да еще и при детях. Возмутившись, я немедленно указал ему на дверь и фактически спустил с лестницы. Извини, родная, что так получилось. Исходил я из лучших побуждений, охраняя твой капитал. Ведь на самом деле ты мне написала доверенность, и при случае мог бы взаимнообразно брать у тебя со счета кой-какие денежки, но ни разу этим не воспользовался, правда. И супругу твоему не позволил — все растратил бы, шельмец, как пить дать. Не дождется! Ты вернешься, и тебе твои средства очень понадобятся. А тем более что на Пьера, судя по всему, рассчитывать не придется. Извини еще раз. Твой брат Жан-Жак».

* * *

«Дорогая Мари, извини, что долго не писал. Ты ведь знаешь: я писать не мастак, это для меня целая история. Подбирать слова и низать их на строчки не умею толком. И сейчас бы не сподобился сесть, если бы не твой муж. Я тружусь у Лемуана, стал его

управляющим, он довольно плох, не встает совсем и передвигается по комнатам в кресле на колесиках. Но с моим приездом ожил, захотел набрать новых учеников, что мы и сделали, и работает с ними, почти как и раньше, только сидя. Тут приходит к нему Пьер Фальконе: дайте денег как сыну вашего друга. Лемуан говорит: просто так не дам, потому что пропьешь или же потратишь на баб, или проиграешь в карты, а неси-ка свои картины, я могу купить, если что понравится. Он говорит: все свои картины я уже продал, больше ничего не осталось. Лемуан: снова напиши. Фальконе-сын: не имею денег на холсты и краски. Лемуан: вот моя мастерская, вот холсты и краски — пиши. Но, как видно, зарабатывать Пьеру не хотелось, он покинул нас, грязно огрызаясь. Скверно это очень, Мари. Без тебя он, как видно, погибает совсем, впрочем, при тебе тоже вряд ли бы за ум взялся, эту породу хорошо знаю. (Ничего не хочу сказать плохого про мсье Этьена, потому как сынок его явно не унаследовал лучшие черты своего родителя.) Вот о чем хотел тебе рассказать. И предупредить. А тебя мы с мэтром Лемуаном ждем сердечно, любим, помним. Дома у меня, слава Богу, все в порядке: дети подрастают, Анна из меня тянет жилы, все привычно. А подробности — как приедешь. Твой навек друг Александр».

Я, конечно, рассказала об этих письмах Этьену — он весьма расстроился, чуть ли не до слез. Долго крестился на распятие. Бормотал:

— Бедный мой сыночек. Он всегда был сорвиголова, но последнее время, в Петербурге, после женитьбы, как-то присмирел и держал себя в руках. Эх, не надо было тебя здесь задерживать. Ты бы на него в Париже благотворно влияла. Вместе с Машенькой. А теперь он сорвался и пошел в разнос. Может, все-таки поедешь к нему теперь?

— Я боюсь, уже поздно.

— Может быть, и поздно. Но попробовать бы стоило.

— Я тебя не брошу.

Фальконе вздохнул:

— Да, конечно, девочка и ты — обе вы поддерживаете мои силы. Я к весне окончу работы над монументом. И тогда решим — вместе поедем или ты сначала.

— Лучше бы вместе.

— Может быть, и так.

А работы у мэтра в самом деле продвигались довольно быстро. Все шероховатости после отливки были зачищены и отчеканены. С осторожностью присоединили верхнюю половину памятника к нижней, и они совпали почти идеально! По весне 1778 года их спаяли. Снова пошла зачистка и чеканка. Удалось на славу — даже в увеличительное стекло невозможно было заметить швов.

Кончено! Статуя высилась посреди мастерской величавой глыбой, грозная, дерзновенная по своему замыслу. Все ходили вокруг нее и цокали языками. В гипсовом варианте впечатление оставляла не такое. Бронза придала фигуре царя и коня фундаментальность, монументальность, некую крепость и законченность. Гений Фальконе, мысли его и озарения обрели конкретную форму. Их можно было пощупать. Их нельзя было отменить, запретить, игнорировать. Превратились из вещи в себе в вещь для всех. В памятник не только Петру — в памятник Этьену (и немножко — в мой).

Что теперь? Только вставить металлические штыри на задних ногах и хвосте лошади в соответствующие отверстия, просверленные в Гром-камне, и зацементировать. А потом устроить торжественное открытие новой приметы Петербурга.

Но вот с этим, самым последним этапом, и случилась заминка. Фальконе сообщил Бецкому письменно: статуя готова, и пора рассчитаться за проделанную работу (80 тысяч ливров за отливку — сверх общей суммы контракта). Генерал не отвечал долго, а потом отдался странной запиской, суть которой сводилась к следующим трем пунктам:

1. Устанавливать пока рано, так как есть опасения, что конструкция неустойчива и может обрушиться.

2. Заплатить не могут, так как речь шла об отливке статуи целиком, а не двух половинок, это вина Этьена, и денег не будет.

3. В перечне дел ее величества на этот год торжества по случаю открытия монумента отсутствуют.

Мы сидели ошеломленные. Что за чушь? Что за отговорки? Фельтен как архитектор и инженер много раз проверял и перепроверял все расчеты — памятник устойчив, выдержит ураган и не сломается. В договоре не было слов об отливке целиком или по частям. Разве это важно? Важен результат — а он налицо. И потом — почему бы не

внести в перечень дел императрицы это мероприятие — на дворе только лето, до конца года масса времени!

Фальконе, придя в себя, заявил:

— Я писать буду непосредственно ей. Пусть она мне скажет! Если подтвердит все его уловки, я немедленно покину Россию, ни на миг не останусь в этой подлой, вероломной стране!

Попыталась его утихомирить:

— Подожди, не кипятись раньше времени. В самом деле напиши Екатерине. Думаю, она разберется.

Сочинил черновик и меня ознакомил с ним, мы внесли коррективы, сделали письмо вежливее, лояльнее, я перебелила (у меня почерк лучше), а Филипп отнес его во дворец, сдал камер-фурьеру. Ждали ответа три недели (думали — вот пока отвезут в Царское Село, где проводит лето ее величество, вот пока напишет, вот пока привезут сюда...), но не дождались. Вроде памятник Петру перестал ее интересовать. Для чего тогда было все? Деньги, истраченные на трудную работу? Перевозка Гром-камня? Наши невзгоды? Как говорят русские, псу под хвост?

Мэтр мрачнел с каждым днем и в конце концов заключил: хватит унижаться! Лопнуло терпение. Надо собираться и ехать. Что хотят, то пускай с нашим памятником и делают, умываем руки.

Около месяца складывали вещи, паковали статуи и картины в деревянные ящики. Всем заправлял Филипп, я ему помогала в части одежды, обуви, головных уборов и книг. Больше всех веселилась Машенька — путешествие представлялось ей сказкой наяву, и она фантазировала, как мы поплывем по бурному морю, будем воевать с пиратами, нас, возможно, высадят на необитаемом острове, но прекрасный принц приедет и всех спасет. Я же причитала только: «Не дай Бог, не дай Бог!»

Повезло: подвернулось то самое голландское судно, на котором три года тому назад уезжал мой супруг. Шло оно тоже в Амстердам, что вполне нас устраивало: князь Голицын, состоявший по-прежнему русским посланником в Нидерландах, приглашал нас в гости очень давно. Он и Пьеру помогал по его прибытии — денег дал и снабдил каретой до Парижа. Ах, Париж! Я соскучилась по нему ужасно. И по брату, и по Лемуану, и по Дидро. А по мужу? Честно говоря, не

особенно. Понимала: годы разлуки развели нас настолько, что каких-то радужных надежд не питала. Как судьба повернется.

Накануне отъезда, в воскресенье, 27 сентября, причастились и исповедались у отца Жерома. День был солнечный, ясный; прогулявшись в последний раз по Петербургу, нанесли прощальные визиты — в Академию художеств и французское посольство, Дмитриевскому и Фельтену. У Ивана Афанасьевича дома было, как всегда, шумно, весело: 6 сыновей и 4 дочери кое-что значат (старшему было 19, младшей — 5), он уговорил нас выпить по чашечке кофе и рассказывал, как идут дела в устроительстве частного театра. Совершенно не постарел, выглядел счастливым и полным жизни. Обещал приехать во Францию с новой труппой. В общем, расставались добрыми друзьями. Несколько иначе принял нас Юрий Матвеевич — он жил один в своем особняке на набережной Мойки (умерли два сына его и дочь, а потом и жена в возрасте 32 лет) — появился спросонья небритый, в колпаке и халате, с красными глазами. Удивился:

— Уезжаешь? Почему?

Фальконе объяснил. Архитектор развел руками:

— Ну, батенька, так не поступают. Что значит «ты обиделся»? На правителей обижаться не след, ведь у власть придержащих свои резоны. Был я третьего дни в Царском — государыня собирается возвращаться в Петербург, и уверен, что решит все твои вопросы. Не иначе! Плюнь ты на Бецкого, он в своей игре и своих интригах, обращать внимание на них — токмо себя расстраивать. Надо быть дипломатом. Думаешь, он меня неизменно поддерживал? Как бы не так. Все равно в конце концов моя брала. Надо токмо выждать.

Но Этьен выжидать не собирался, говорил упрямо: это дело решенное, завтра утром на корабль, вещи уже загружены, за дорогу заплачено и задерживаться в России у него больше мочи нет. Юрий Матвеевич укоризненно качал головой.

— Об одном прошу, — произнес на прощанье скульптор, — сохранить мою статую в целости в мастерской, чтобы не испортили, части не раскрали, а потом, если будет на то монаршья воля, водрузить на пьедестал.

Фельтен обещал:

— Не тревожься, выполню все твои заветы. На открытие монумента позову. Как, приедешь?

— Разумеется, приеду.

Обнялись они по-братски. Мне поцеловал руку. Напоследок все-таки спросил:

— Может быть, останешься, а?

— Перестань, не травми мне душу.

— Эх, Этьен, Этьен, буйная твоя головушка. Вам, французам, выдержки всегда не хватало. Ну, бывай здоров. Я молюсь о тебе.

Вышли от него с тяжелой душой. Долго шагали молча. Неожиданно Фальконе сказал:

— Нет, пора. Он и сам справится. — Как-то отрешенно тряхнул головой: — А открытие — что открытие? Мишура, фанфары. Я могу обойтись и без них.

Мягко упрекнула его:

— А увидеть свое детище посреди площади — неужели не хочется?

Он вздохнул:

— Хочется, конечно. Но сидеть и ждать царской милости — год, другой или сколько там? — нет, увольте. Баста, на унижался.

— Ты жалеешь, что приехал в Россию?

— Почему, отнюдь. Сделал то, что не сделал бы во Франции. Творчески удовлетворен полностью. Более того: научился мастерству художественного литья. Опыт, бесценный опыт! Эти двенадцать лет — лучшие в моей жизни. Не кривлю душой. Но пора менять страну пребывания и меняться самому. Жизнь — движение. Жизнь — развитие. Бог создал нас, чтобы мы развивались, совершенствовались, приближаясь к Абсолюту. Мы интересны Богу, только если сами становимся творцами. По Его образу и подобию. А когда погрязаем в мелочах, в повседневном быту, останавливаемся в развитии, Бог отворачивается от нас. Остановка — смерть. Останавливаться нельзя.

Может, я слегка упрощаю его слова, сказанные тогда на набережной Мойки, да, наверняка упрощаю, он говорил убедительнее и ярче, но передаю суть. Суть его философии. Суть его понимания смысла бытия. Так считал и так действовал. Фальконе — сам движение, сам дерзание, самосовершенствование, самопознание. Вровень с Дидро, Руссо, Вольтером. Вровень с Леонардо. И общение с

таким человеком, близость к нему — счастье и удача. Счастье и удача моей жизни.

Утром 28 сентября 1778 года мы стояли на корме корабля «Роттердам» и смотрели, как русский берег удаляется от нас. Дул довольно холодный ветер. Ленты моего капора и капора Машеньки развевались от него, как хвосты экзотических птиц. Мэтр поднял воротник плаща и надвинул шляпу на самые глаза, был неразговорчив и мрачен. Чувствовалось, что и он покидает Петербург с тяжелым сердцем. Становилось совсем прохладно. Я спросила:

— Спустимся в каюту? Мы уже замерзли.

Скульптор отвечал:

— Вы спускайтесь, а я еще постою немного.

Внучка посмотрела ему в лицо:

— Ах, папа, ты плачешь?

Он смутился:

— Нет, нет, что ты, дорогая! — И коснулся ладонью ее плеча. — Просто ледяной ветер. Слезы от него начинают течь.

— Не печалься, папочка. Нам в Петербурге было хорошо, это верно, но в Париже, может, будет еще приятнее. Главное, что мы вместе. Главное, что мы любим друг друга.

— Да, моя хорошая. Я тебя обожаю. — Он склонился к ней и поцеловал в покрасневшую от холода щеку.

2

Несмотря на сентябрь (только начало осени), мерзли всю дорогу. И Филипп спускался в трюм, к нашему багажу, чтоб достать верблюжьи одеяла и вязаные кофты. Он и мэтр грелись также ромом, правда, в небольших порциях, так как судно часто качало, и у всех кружилась голова. Нас подбадривал капитан Ван дер Деккен, рыжий великан со шкиперской бородкой и зелеными глазками. Улыбаясь, он показывал пожелтевшие прокуренные зубы и бубнил надтреснутым басом:

— Разве это качка? Ерунда. Вот попали мы в шторм в тысяча семьсот семидесятом году... — Далее следовал история, как ему и команде «Роттердама» чудом удалось избежать гибели в Северном

море. — А сейчас никакой опасности и в помине нет, доплывем с Божьей помощью, надеюсь.

Мы с Мари-Люси, чтобы скоротать время, вслух читали книжки, иногда играли в слова и карты. Фальконе гулял по палубе, думая о чем-то, или же валялся на своей койке, заложив руки за голову (чем напоминал Пьера). Говорил, что лучше бы ехали в карете, по земле спокойнее, ведь ему с детства претили путешествия по воде, а вот тут поддался моим уговорам и не возражал против корабля...

Но, как говорил Ван дер Деккен, с Божьей помощью все-таки доплыли. Поутру 4 октября красное рассветное солнце осветило разноцветные крыши домиков Амстердама вдалеке перед носом корабля. Мы смотрели на город неотрывно. В первый раз ощутили остро: всё, с Россией покончено, русские, русская земля, русский образ жизни далеко позади; мы теперь на Западе, более привычном нашему сознанию. Да, и здесь полно недостатков, зависти, интриг, но они какие-то свои, без налета азиатчины, на свое не обижаешься, так как вырос с ними. А Мари-Люси, глядя на Амстердам, рассмеялась: «Домики, словно в кукольном городке. Все-таки в Петербурге здания красивее». Ей, родившейся в России, предстояло еще привыкать к европейской цивилизации.

В амстердамском порту из воды торчали специальные деревянные буи, прикрепленные к морскому дну, чтобы к ним цеплялись суда на рейде. Швартовались долго. А потом еще дольше спускались в лодку, чтобы плыть к берегу. Фальконе нёс внучку на руках, а Филипп остался на корабле, чтобы проследить за разгрузкой нашего багажа. Наконец, ступили на землю! Слава Богу! Мы с Этьеном перекрестились, а дочурка, глядя на нас, хихикала, ей морское путешествие все-таки понравилось, маленькие дети не думают об опасностях.

Приняли решение сразу скакать в Гаагу, в русскую миссию к князю Голицыну, и спросить у него совета, как нам двигаться дальше. Наняли карету и отдельно фургон (грузовую телегу, крытую брезентом): в первой ехали мы втроем, во второй — Филипп с багажом. Путь до Гааги занял три часа. Разгрузились на постоялом дворе в самом центре города, заняли три комнаты, пообедали, и, пока я и Машенька отдыхали с дороги, а Филипп доставал необходимые вещи из сундуков, Фальконе отправился в русское посольство. Возвратился

под вечер, сильно подшофе, очень возбужденный. И, обняв нас с дочкой, произнес:

— Девочки мои, все устраивается как нельзя лучше. Князь меня встретил, словно родственника, мы с ним выпили водки, обменялись мнениями и прочее. Словом, предложил нам пока остановиться у него в загородном доме. Там живет его супруга с детьми. Места хватит всем. Завтра с утра покатым.

Я спросила:

— А Париж? Мы пока не едем в Париж?

Мэтр поморщился:

— Твой Париж никуда не денется. Я ж не мог обидеть Дмитрия Алексеевича отказом. Поживем недельку-другую, а потом посмотрим.

Выглядел он счастливым, и мне совестно было разрушать его доброе настроение неуместными вопросами. Он отправился спать в свою отдельную комнату, мы с Мари-Люси остались в нашей, а Филипп заночевал в третьей, без окна, больше похожей на чулан. С первыми лучами рассвета двинулись в загородный дом князя — меж Гаагой и Шевенингеном, в получасе езды от центра города, на берегу моря. Крохотная голландская деревушка, тихие уютные домики, церковь и рыбацкие лодки. Абсолютный покой. Сразу оценили возможность хорошо отдохнуть от бурлящего Петербурга и невыносимо долгой качки на корабле.

Звали мадам Голицыну по-русски Амалия Самуиловна, а на самом деле Аделаида Амалия фон Шметгау — дочка прусского фельдмаршала, очень милая дама тридцати лет. На воротах был прибит щит с надписью *Niethuys* (то есть, по-немецки, *Nicht zu Hause* — «Никого нет дома», — чтоб незваные визитеры не надоедали хозяевам). Но о нашем приезде князь свою жену известил, и она вышла к нам, лучезарно улыбаясь, в легком свободном платье, чем-то напоминавшим греческие тоги. И, что удивительно, без парика; более того, волосы княгини были коротко подстрижены — совершенно невероятная дерзость по тем временам: это говорило о ее пренебрежении к веяниям моды и о собственных взглядах на жизнь.

По-французски говорила неплохо, впрочем, то и дело переходя на немецкий, а по-русски, судя по всему, не знала ни слова. Поженились они с князем около десяти лет назад, детям было девять и восемь. Старшую, Марианну, дома звали Мими, сына, Дмитрия, Митри. Оба очень чистенькие, правильные, вежливые, было видно, что воспитываются матерью в прусской строгости. Состояли при них немка-бонна и гувернер-голландец, люди, на мой взгляд, ограниченные и недобрые, но следившие за своими воспитанниками зорко.

Мать пожаловалась в первый же вечер:

— Здесь ужасно скучно. Каждый Божий день похож на другой, ничего нового. Вот когда был проездом Дидро — я смогла отвести с ним душу, мы гуляли по берегу моря и беседовали о разных предметах, в том числе и философских. Даже спорили.

— Спорили с Дидро? — удивился Фальконе.

— Да, а что такого? Он, конечно, выдающийся ум, энциклопедист, но с его взглядами на религию не могу согласиться. Вы-то, я надеюсь, не атеисты?

— Нет, правоверные католики.

— Это правильно. Я сторонница устоявшихся догм, лютеранство не по мне. Призываю Дмитрия Алексеевича перейти в католичество, только он не может, ибо с этим в России строго, молятся по-гречески. Да вы знаете — столько лет провели в Петербурге. Я — всего единожды, с мужем, бегло, не успела даже горд как следует рассмотреть. Там, по-моему, климат очень влажный и ветра дуют. Не люблю холод.

Две недели пронеслись незаметно. Предстояло решить, как нам двигаться дальше. Но когда в конце второй недели загородный дом посетил князь Голицын, все переменялось. Он сказал:

— Дорогие Этьен, Мари, поживите у нас подольше. Вы понравились детям и жене, будете давать им уроки французского, рисования и лепки. И Мари-Люси сможет заниматься с учителями. Можно одну из комнат превратить в вашу мастерскую. Я хотел бы, чтобы вы, мадам, изваяли бюст моей супруги. И к тому же близость к Гааге, Амстердаму и Роттердаму вам позволит познакомиться с Голландией ближе, посетить музеи и театры. Право, соглашайтесь. Никаких контрактов — сколько захотите, столько и пробудете, — разумеется, полностью за мой счет.

Мы ответили, что подумаем. А подумав, ответили утвердительно.

Поначалу жизнь наша у князя и княгини складывалась прекрасно. Море, хоть и Северное, но отнюдь не Балтийское, приносило теплую погоду даже зимой. Фальконе и я моментально забыли, что такое шубы и шапки. Часто шли дожди, но не ледяные, можно было сидеть на террасе и вдыхать морской воздух. То и дело гуляли в прибрежных рощах или по песку у самой кромки воды. Вслед за нами увязывалась дворняжка Жужа, жившая при доме, но в людской, весело скакала и лаяла; мэтр бросал ей палку, и она с радостью ее приносила. Дети Голицына к нам привязались, рьяно занимались французским и рисованием. А Мари-Люси познавала с ними и с голландцем-учителем кое-какие азы географии, истории, математики. Мы ни в чем не нуждались. Иногда устраивали вылазки в город и знакомились с достопримечательностями. Наслаждались жизнью.

Время от времени получали письма. Фельтен писал из Петербурга, что об установке памятника речь пока не идет, только на словах Бецкой уверяет: «Скоро, скоро», — а царица назначила его, Юрия Матвеевича, главным ответственным за сохранение монумента и последующий монтаж, но конкретных чисел пока не названо. Не упоминал даже, как в российских верхах отнеслись к нашему отъезду; складывалось впечатление, что ни грусти, ни печали не было; русские говорят: баба с возу — кобыле легче.

Грустное письмо пришло из Парижа: умер старина Лемуан. Александр Фонтен рассказал о его похоронах, о работе в его студии, о его завещании, по которому и нам с Фальконе-старшим кое-что перепало. Бедный Лемуан! Наш учитель. Не забудем о нем никогда.

И еще Фонтен написал, что Этьена ждут в Академии художеств — держат место помощника ректора, да и с Севрской фабрики спрашивали о нем, видимо, желая вновь заполучить к себе в мастера. Брат Жан-Жак рассказывал о своих делах, как растут дети и болеет Луиза. Только о Пьере Фальконе не было известий — сам он не писал, а другие о нем не упоминали. Я не сомневалась, что моя семейная жизнь окончена. Но меня, честно говоря, этот факт не особенно

угнетал: главное — жить бок о бок с Фальконе-старшим, помогать ему в мастерской и в быту. Остальное не имело для меня никакого значения.

Наша безмятежная жизнь в Голландии начала меняться в худшую сторону с осени 1779 года: князь навещал семью все реже, а княгиня ходила озабоченно-грустная. Что за черная кошка пробежала меж ними, не имели понятия, но разлад был виден каждому постороннему. И когда на Рождество Дмитрий Алексеевич пригласил меня и Этьена в русское посольство на званый вечер, а супруга с детьми к нему не поехала, стало очевидно, что разрыв назревает. И Голицын, выпив шампанского, откровенно признался:

— В скором времени Амалия Самуиловна нас покинет.

— Почему? Как? — Фальконе сделал вид, что такой поворот событий для него новость.

Дипломат закатил глаза:

— Всякое случается в частной жизни. Чувства иссякают... Жалко, что детей буду видеть редко.

— А куда ж она собирается?

— В Мюнстер. Это в Германии, но недалеко от Голландии. Там ее друзья, там ее родня. Перестанет маяться.

— Значит, и нам пора отправляться в дорогу.

— Что вы, что вы! — замахал руками наш благодетель. — Оставайтесь, конечно. Дом в вашем распоряжении.

— Очень благодарны за гостеприимство. Но не хочется им злоупотреблять. Мы не позже мая двинемся в Париж.

— Ну, до мая еще далеко, там и потолкуем.

А княгиня сообщила мне и Этьену о своем отъезде следующими словами:

— Русские не умеют ничего планировать. Дмитрий Алексеевич совершенно не думает о будущем детей. Кем они станут, сидя у себя дома, в Голландии? Я должна предпринять решительные меры. Девочку помещу в женский католический монастырь Грефрат, что в городе Золинген; августинки научат ее праведности и послушанию. Мальчика с тринадцати лет отдам в Берлинский кадетский корпус, где проходят науки дети лучших семей Пруссии. И его недаром называют Академией дворянства. Станет военным, как мой родитель. Митри сам

желает стать военным. Ведь недаром в Берлине шутят: это не прусское государство имеет свою армию, а наша армия имеет свое государство.

Спорить с ней было бесполезно. Я могла бы возразить, что на самом деле Мими абсолютно не религиозна и в монастыре, пусть и для учебы только, ей будет нелегко; да и Митри, по-моему, больше склонен к гуманитарным предметам (хорошо рисует, хорошо играет на клавишине, любит поэзию), чем к армейским премудростям, — но смолчала. Кто я такая, чтобы ей указывать? Если она перечила самому Дидро, мне и вовсе надо сохранять нейтралитет.

Фрау Аделаида-Амалия ускакала с детьми в Мюнстер в марте 1780 года. Мы собрались восвояси ближе к июню.

«Многоуважаемый мсье Фальконе, дорогой Этьен. Я спешу сообщить Вам хорошие новости. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Давеча на приеме в Зимнем ее величество спрашивают меня: “Юрий Матвеевич, что же вы, голубчик, ничего не предпринимаете с памятником Петру? Столько лет стоит готовый, и все без толку”. Я слегка растерялся и говорю: “Так мсье Бецкой не велел”. — “То есть что значит — «не велел»? Как сие понять?” — “Распорядился не трогать монумент без особых на то распоряжений”. Государыня покачала головой: “Ах, он баловник, я ему задам перцу. Никого не слушайте, кроме меня. А мое распоряжение таково: водрузить Петра на готовый постамент, привести в порядок площадь вокруг для торжественного открытия. Я сама стану открывать”. — “Слушаюсь, ваше величество”. В общем, завертелось. Мы перевезли бронзового царя на Сенатскую, где в сарае стоит обтесанный и удлиненный Гром-камень. Подняли и вставили стержни в пазы — подошли они великолепно! Памятник держался на них даже без цементирования! А когда залили раствор и он затвердел, стало ясно, что никакие хляби небесные не повалят нашего самодержца. Поздравляю!

Но, как говорится, должен добавить и ложку дегтя в бочку меда. Генерал Бецкой и тут остался верным себе — настоял, чтобы монумент обнесли кованой решеткой, сбоку которой надо поставить

будку с караульным. Все мои протесты, что такой вариант нарушает целостность восприятия, оскверняет замысел скульптора, не были услышаны. По эскизам небезызвестного Вам Стефана Вебера из Академии художеств тут теперь куют решетку. Будку возведут чуть позднее. Что поделаешь, мы не можем не считаться с мнением сильных мира сего, ибо полностью зависим от них. А они навязывают нам свои представления о прекрасном.

Под конец сего послания, дабы развеять, может быть, печальные мысли, расскажу забавную историю про нашего общего знакомого — капитана де Ласкари. Как он втерся в доверие к ИИБ через дядюшку своего, мы наслышаны, но служил относительно честно, находился на хорошем счету. Распоряжался от имени генерала, помогал транспортировать Гром-камень и прочее. И внезапно открываются страшные подробности. Этот хитрый грек за последние два года схоронил трех своих супружниц. Трех! За два года! Выгодно женился, получал богатое приданое, а потом его благоверные скоростно отправлялись к праотцам. Вот вам и помощничек генерала! Началось дознание, но, пока до ареста не дошло, наш пройдоха де Ласкари благополучно исчез. Где, что — никто не понимает. А потом выясняется: человек, похожий на капитана, оформлял себе заграничный паспорт на имя графа Корбури. И уехал из России как ни в чем не бывало. Так что, если встретите его в Европах, поинтересуйтесь, как теперь называть сего шельмеца. Но уж лучше не встречайте, от греха подальше.

Остаюсь за сим неизменным поклонником Вашего таланта
Юрий Фельтен.

P.S. Низкий поклон от меня мадам Фальконе, я поклонник не токмо ея таланта, но и красоты».

Милый Юрий Матвеевич переслал нам эту эпистолу не в Голландию, а уже в Париж, отвечая на письмо Этьена, сочиненное в августе 1780 года. Значит, мне пора рассказать, как мы возвращались домой.

Из Гааги ехали в карете, предоставленной князем Голицыным (именно на ней двигался Пьер Фальконе пять лет назад). С остановками в Антверпене и Брюсселе. Было начало лета, все уже зеленело и цвело, замечательная погода, птички заливаются, и стрекозы порхают. На границе Голландии и Австрийских

Нидерландов^[10] пограничники заставили нас выгрузить багаж и, составив опись всех произведений искусства, нагло потребовали заплатить пошлину. Не желая спорить, Фальконе раскошелился. А зато пограничники-французы пропустили нас беспрепятственно. Наконец-то в Лилле! Мы так радовались родной земле, словно нас переселяли до этого на другую планету; все казалось таким знакомым, близким, все такие милые, вежливые, всех хотелось обнять и крикнуть: «Мы дома! Дома! Во Франции!» Целых четырнадцать лет отсутствия, из которых двенадцать — в России. А по внешнему виду французской стороны вроде бы уехали только вчера: совершенно никаких перемен. (Это уже потом, в столице, перемены бросились в глаза сразу, а провинция словно бы застыла в гипсе, старая, добрая, патриархальная...)

В Лилле заночевали, а с восходом солнца двинулись к Парижу. Пообедав в Амьене, дальше скакали без остановок, сделав передышку только на берегу Сены, в Сан-Дени. Начинало уже смеркаться, как мы оказались в нашем любимом городе. Капал мелкий дождичек. Фальконе сказал, что примета эта хорошая: небеса окропляют завершение нашего путешествия.

В половине десятого вечера подкатили к моему родному дому — где родились я и мой брат, где скончались мамочка и отец. Выглядел он прекрасно, стены оштукатурены, новая черепица, а на первом этаже, как и прежде, обувная мастерская с вывеской «Колло и сын». Сердце сжималось от счастья! Наконец-то! Дожили, вернулись!

Позвонили в колокольчик. Долго никто не открывал, а потом появилась девушка-горничная и сказала хмуро: «У хозяев траур, никого не велено принимать».

— Как траур, почему траур? Кто умер?

— Умерла хозяйка, мадам Луиза. Схоронили третьего дня.

Я и Этьен перекрестились. А потом сказали, кто мы такие и откуда прибыли. Горничная охнула и мгновенно побежала докладывать.

Так мое возвращение в отчий дом началось с траурных вестей, и потом они, эти вести, следовали за мной по пятам неотступно...

Глава одиннадцатая

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАМЯТНИКА

1

Все французские газеты сообщили об открытии в Петербурге монумента Петру. Да, заметки были небольшие, но значимые. А «Журналь де Пари» даже поместил неплохую гравюрку с изображением детища Фальконе. Наконец, дождались поступления из России «Санкт-Петербургских ведомостей», где событие описывалось во всех подробностях. И поскольку русский я еще помнила хорошо, то смогу пересказать близко к тексту.

Приурочили открытие к 100-летию провозглашения Петра I самодержцем всея Руси — 7 августа 1782 года^[11]. Статую обнесли высокими щитами, на которых были изображены горные пейзажи. На Сенатской площади выстроили ряды лавок, где должны рассестся знатные зрители (по бокам монумента и со стороны Невы). Здание Сената и близлежащие дома изукрасили цветами и ветками с зелеными листьями.

Накануне шел дождь, было пасмурно, дул холодный ветер. Но к полудню небо расчистилось, солнце всех согрело. А народу собралось видимо-невидимо: кроме официальных мест на площади зрители сидели на крышах соседних зданий, на деревьях и смотрели через бинокли даже с Васильевского острова. В первом часу пополудни чинным строем начали сходиться полки в парадной форме (Преображенский во главе с Григорием Потемкиным, Измайловский, Семеновский и другие — общим числом около 15 тысяч человек) и располагались вокруг памятника в виде почетного караула.

Государыня прибыла на парусном судне по Неве. У причала ее приветствовали члены Сената и другие вельможи. В их сопровождении ее величество проследовала в здание Сената и буквально через четверть часа появилась на балконе, сев в увитое цветами кресло. И платочком дала отмашку для начала церемонии. Вверх взвилась сигнальная ракета, а военные барабанщики грянули в

свои инструменты. Выстрелили пушки. Пуф! — щиты вокруг монумента пали. И как будто из недр горы, из клубов порохового дыма, взвился ввысь великий всадник на гранитном утесе.

Раздалось многократное «ура!» — это полки приветствовали своего кумира. Развернувшись, они под трубы оркестра, с барабанным боем прошагали торжественным маршем под балконом царицы. Пушки палили с кораблей на Неве, с Петропавловской крепости и с набережной. Город ликовал.

Вскоре Екатерина вышла из Сената и, пройдя к причалу, удалилась на том же самом судне по Неве. А когда войска и вельможи разошлись, к памятнику хлынул простой народ. Горожане восторгались необычной фигурой, говорили, что Петр и должен стоять в столице именно таким. Но при этом, судя по всему, о создателях шедевра никто и не вспоминал...

Впрочем, не совсем так. По российской традиции, в честь события были выпущены две памятные медали — золотая и серебряная. Их нам привез в Париж князь Голицын, бывший на церемониях в Петербурге и имевший от государыни поручение передать медали по назначению. (Пригласить на открытие самого Фальконе и меня им в голову не пришло? Или не хотели сознательно? Вижу в том происки Бецкого, мстившего Этьену за «непослушание».)

Дмитрий Алексеевич неожиданно за эти годы постарел и осунулся — говорил, что болел в последнее время и едва пришел в себя накануне. Утверждал, что жена и дети его в порядке, дочка учится при монастыре, Митри готовится к поступлению в кадетскую школу. Но понятно было, что разлука с семьей очень угнетает нашего благодетеля.

Фальконе, приняв от него медали, золотую взял себе, а серебряную отдал мне, с чувством поцеловав руку. Я благодарила. Было, безусловно, приятно, но в душе оставался какой-то горький осадок. Все-таки без нас, без Этьена, без его гения, памятник не состоялся бы. Это все равно что, празднуя рождение дочки или сына, чествовать одну мать и забыть про отца, оплодотворившего ее, заронившего в нее свое семя. Как же можно было скульптора не позвать? Нет, иное дело, он поехал бы или нет, захотел бы пуститься в новое опасное путешествие или остался бы дома, но позвать, позвать,

я считаю, были обязаны. Просто по-человечески. Просто по справедливости.

Что ж, пускай сие останется на их совести.

2

Как я уже писала, мы вернулись в Париж из Гааги в августе 1780 года, сразу после похорон бедняжки Луизы, верной супруги моего брата Жан-Жака. Долго она болела, угасала несколько лет и скончалась у него на руках. Брат перенес потерю стойко. Видимо, мысленно был уже готов к таком исходу. Отвлекал себя от печальных мыслей хлопотами по своей мастерской и магазину. Дети помогали ему, как могли: 13-летний Марк был приказчиком, а 11-летняя Жюстин хозяйничала по дому. Как ни странно, у нее имелся уже ухажер — сын соседей, содержавших мясную лавку, но она говорила, что он ей не нравится и что замуж за него никогда не пойдет.

Вместе с ними по-прежнему проживала Марго — младшая сестра покойной Луизы — тоже с двумя детьми, сыновьями, соответственно, десяти и двенадцати годов. Их отец опять сидел в тюрьме за свои криминальные речи, но в Бастилии или нет, было неизвестно доподлинно. Маргарита, находясь фактически на иждивении моего брата, исполняла обязанности кухарки и домоправительницы. Ей помогала горничная.

Первую неделю мы с Мари-Люси, Фальконе-старшим и Филиппом провели у них, а потом разъехались: он и слуга опять в Севр, в тот же дом при мануфактуре, где наш мэтр возобновил работу, я же с дочкой поселилась в съемной квартире на Ангулемской улице близ квартала Святого Георгия. У меня на счете в банке накопилась вполне приличная сумма, кое-что привезла с собой, плюс по-прежнему пенсия от Екатерины Великой, так что я могла себе позволить небольшие, но милые апартаменты из трех комнат. Машеньке пошел седьмой год, и я думала о ее образовании. Собственно, вариантов было только два: или школа для девочек при монастыре (аналог Смольного института благородных девиц в Петербурге), или домашняя учеба. Я склонялась ко второму — разумеется, денег на учителей потребуется больше, чем для пансиона, а зато мы с ней не расстанемся, будем

видеться каждый Божий день. Но мои планы неожиданно нарушил Пьер Фальконе...

Я его не искала, он сам пришел. Очень изменился: волосы поредели и поседели, под глазами мешки, и вообще лицо все одутловатое, нездоровое. Вот что делает с людьми невоздержанность! Превращает симпатичного юношу в старика-сморчка. А на самом деле Пьеру было всего чуть за сорок. Выглядел же примерно на шестьдесят.

Говорил нервно, как-то блудливо, с бегающими глазками, и все время что-то теребя пальцами. Сразу обрушил на меня обвинения:

— Ты во всем виновата, ты. Видишь, что со мной случилось? Я на дне, я пропал, потерял себя и на грани помешательства. Не могу работать. Словно все внутри выжжено.

Я ответила:

— Не преувеличивай. Да, по логике, мы должны были ехать из России во Францию вместе. Но ведь ты же знаешь, почему я осталась. Если бы не осталась, то еще не известно, смог бы твой отец завершить работу над монументом.

— Мой отец! Монумент! — зло передразнил муж. — Мой отец всегда был у тебя на первом месте. Но его интересовал монумент, а не ты. Монумент погубил нашу жизнь. Прежде всего, мою. Я его ненавижу.

— Прекрати нести чушь. Монумент — это главное дело нашей жизни. Мы поставили жизнь на монумент. Да, он отнял у каждого из нас очень много, но и дал очень много: славу и бессмертие. Об отце, о тебе, обо мне будут вспоминать лишь в связи с монументом. Мы вошли в историю только благодаря ему.

Он развел руками:

— Что мне до истории! Мне плевать, вспомнят обо мне или нет. Я хочу жить сейчас. Наслаждаться жизнью сейчас. А бессмертие безразлично мне. — Помолчав, спросил: — Нет ли у тебя чего выпить? Должен опрокинуть рюмочку-другую, чтобы успокоиться.

— Абрикосовый ликер подойдет? Я люблю добавлять его в чай.

— Гадость, конечно, но неси.

Похмелившись, быстро приободрился. Перестал стучать пальцами по столу и юродствовать. Превратился в прежнего Пьера, приезжавшего в Петербург. И сказал твердо:

— Мы, конечно, вместе жить не сможем, ты меня променяла на отца, ну да Бог с тобою, и насильно мил не будешь. Просто помоги мне материально, и я отстану.

Мне такой поворот не слишком понравился.

— А не кажется ли тебе, Пьер, что не я тебе, а ты мне и дочери должен помогать материально? Надо нанимать учителей, надо одевать ее как следует и кормить как следует. Да, я заработала кое-что в России, и поэтому Машенька ни в чем не нуждается. Но в мои расчеты помощь еще и тебе не входит.

Он тряхнул давно не мытыми волосами:

— Жаль, что ты не понимаешь... Я хотел по-хорошему... Но тогда придется по-плохому.

— Это как?

— Раскручу дело о разводе. Докажу твою супружескую неверность. Отсужу у тебя не только половину твоего имущества, но и девочку, так как недостойная мать не имеет права ее воспитывать.

Я, похолодев, прошептала:

— Ты не сделаешь этого, Пьер!

— Отчего же? Запросто. Мне терять уже нечего.

Понимала, что он блефует, шантажирует, у него и денег-то нет на судебный процесс и церковный развод, но какой-то животный страх парализовал все мое существо. Я спросила:

— Сколько хочешь, чтобы мы разъехались без взаимных претензий?

— Сто тысяч ливров.

— Ты с ума сошел!

— Нет, пока еще нет.

— Не имею столько. Даже если б имела, если б заплатила тебе — ты оставил бы меня и девочку без сента?

— Перестань. У тебя пенсия от русской императрицы. Дед всегда поможет. И сама на своих бюстах заработаешь.

— Я должна зарабатывать и выклянчивать у мсье Этьена, ты же будешь просто проматывать мои деньги?

Пьер язвительно улыбнулся:

— Что поделаешь, дорогая: жизнь — суровая штука. Ты со мной обошлась жестоко, я с тобой обхожусь таким же образом.

Понемногу нервы мои пришли в порядок. Стала мыслить спокойнее и логичнее. Заявила твердо:

— Нет и нет. Ничего от меня не получишь.

Он опешил:

— То есть как — ничего?

— Ни сантима, ни ливра. Я двенадцать лет провела в России, заработала на старость себе и на обучение дочке. И теперь должна все это отдать? Никогда. Убирайся.

У него в глазах вспыхнули недобрые огоньки.

— Получается, хочешь по-плохому? Что ж, пеняй тогда на себя. Видит Бог: я стремился разрешить это дело мирно. Ты могла бы ограничиться только ста тысячами, а теперь заплатишь много больше.

— Интересно, каким же образом?

Муж поднялся, взвинченный, взбешенный.

— Скоро сама узнаешь, дура. — Сплюнул на пол и вышел.

Я немедленно побежала к соседке (приводила к ней Машеньку, чтобы дочка проводила часы с ее детьми пяти-шести лет) и забрала к себе, чтобы не спускать с нее глаз. Вместе с ней же отправилась на другое утро в Севр к Фальконе-старшему, чтобы рассказать о случившемся. Мэтр опечалился, сетовал, что сын оказался таким мерзавцем, и заверил меня, что я сделала правильно, не отдав ему денег. А потом признался: «Приходил и ко мне в прошлом месяце, я ему вручил двадцать тысяч, так, наверное, уже пропил или проиграл».

Посидели, выпили кофе, успокоились. У Этьена были хорошие новости: приступил к обязанностям помощника ректора Академии художеств и ходатайствовал о принятии меня в академики, все вроде поддержали. А еще он работал над специальным туалетным сервисом по заказу королевы Марии-Антуанетты. Словом, вновь был полон жизненных планов, даже размечтался: «А Бог даст, в будущем году я возьму на фабрике отпуск, и поедем вместе в Италию. Я давно хотел побывать на земле моих предков^[12], посмотреть на шедевры римских зодчих и скульпторов. Самое теперь время». Я его горячо поддержала.

Вскоре неожиданно были приглашены на прием в Версаль — и Этьен, и я, и мсье Дидро. Будучи в недоумении, обратились к ученому. Он открыл секрет: русский великий князь Павел Петрович и его

супруга Мария Федоровна путешествуют по Европе инкогнито — под придуманной фамилией «князей Северских». И теперь они во Франции — на торжественный обед в их честь попросили позвать и нас. Значит, не забыли! Или даже в пику своей мамочке: та не удосужилась вызвать мэтра в Петербург на открытие памятника, а сыночек привечает и чествует. Что ж, какие бы мотивы ни двигали этими людьми, мы остались довольны. И со всей серьезностью готовились к походу в королевский дворец. Кучу денег истратили на новую одежду, обувь и головные уборы. В день приема по дороге в Версаль к нам заехал Дидро (без жены — с ней давно расстался, хоть официального развода и не было), взяв нас в свою карету. Выглядел неважно — бледный, с ввалившимися щеками. Он страдал желудком еще со времени своего путешествия в Россию, но лечиться категорически не хотел, утверждая, будто все врачи — шарлатаны, только травят лекарствами и дерут три шкуры. Но старался улыбаться и рассказывал какие-то веселые байки.

Во дворце царило столпотворение — бесконечные вереницы карет, всё в иллюминации, музыка играет, толчея. Еле протиснулись в один из главных залов. Мэтр Дени уверенно направился к королеве, мы же вслед за ним.

— О, мсье Дидро! — воскликнула она, обмахиваясь веером. — Как я рада вас видеть! Наступило ли улучшение вашего здоровья?

Тот многозначительно поклонился:

— Мерси бьен, ваше величество, я держусь из последних сил. При поддержке моих друзей — разрешите вам представить мсье и мадам Фальконе. Но они не муж и жена, а невестка и свекор.

— Да, да, я наслышана, — улыбнулась Мария-Антуанетта. — Мне рассказывали о вашем, мсье Фальконе, памятнике Петру в Петербурге и показывали гравюру. Очень впечатляет. Вы знакомы с князьями Северскими из России? — И она направила кончик сложенного веера в сторону августейшей супружеской четы, что сидела неподалеку.

— Да, имели честь, — отозвался Этьен. — С маменькой его состоял в переписке. А Мари лепила бюсты императрицы и великой княгини.

— Замечательно. Я преподнесла Марии Федоровне ваш туалетный сервиз, и она от него в восторге.

— Я весьма польщен, ваше величество.

Павел Петрович подошел к нам сам, без особых церемоний. Говорил приветливо:

— Дорогой мсье Этьен, милая мадам Мари, должен извиниться перед вами от всего нашего семейства — за неприглашение на открытие монумента. Это происки Бецкого — к сожалению, Като^[13] слишком уж прислушивается к его мнению. Ну, да Бог с ним вообще. Он теперь серьезно болеет, может не оправиться вовсе. Получил, как говорится, по заслугам. А не делай людям плохого! Кстати, знаете, за кого он выдал воспитанницу свою, а на самом деле дочку? За испанца, адмирала де Рибаса, и она родила ему детей. Так что есть кому оставить многомиллионное состояние. Да, Бецкой — один из богатейших людей России. Может быть, богаче него только Строгановы и Демидовы...

Провели во дворце несколько часов, а потом в карете все того же Дидро вместе с ним отправились по домам. Мсье Дени так устал, что проспал всю дорогу от Версаля до Севра. А потом, простившись с нами, сразу вновь отключился.

Мы, усталые, но веселые, поднялись в квартиру Фальконе — и столкнулись с плачущим Филиппом. Из его бессвязного рассказа выяснилось следующее: в наше отсутствие приезжал Пьер в сопровождении — знаете, кого? — Поммея (тот давно перебрался в Париж, и они промышляли вместе). Требовали хозяев, а когда узнали, что мы в отъезде, приказали Филиппу накрыть на стол. И пока слуга колдовал на кухне, неожиданно смылись. Да не просто так — а забрав с собой Машеньку!

Мы стояли, словно громом пораженные. Понимая, что теперь нам действительно мелкой суммой от несносного отпрыска Этьена не отделаться...

Разумеется, Фальконе-старший раскипятился, стал кричать, что вызовет полицию и засудит сына за похищение девочки. Я его усмиряла, говоря, что никто судить Пьера не подумает, так как он законный родитель и имеет право видеться с ребенком.

— Как же поступить? — перестав шуметь, мэтр бессильно опустился на стул.

— Самое простое — ждать его условий. Новой суммы, за которую он отдаст Мари-Люси.

— А не самое простое? — поднял на меня страдальческие глаза.

— Действовать через Александра Фонтена.

— Как это?

— Ты забыл, что сын у него от Поммеля?

— Да, я помню.

— Мне Фонтен жаловался, что его жена от него ушла: забрала сына и перебралась к Поммелю, прибывшему в Париж.

— Ну, так что с того?

— Есть основание для судебного иска: Александр по закону — отец мальчика, а жена сбежала с ребенком к любовнику и прелюбодействует. Тоже станем шантажировать — или отдавайте Мари-Люси, или Александр подает в суд.

Но Этьен и слушать не захотел:

— Нет, и еще раз нет! Чтобы я пал так низко — занимался шантажом? За кого ты меня принимаешь? Как тебе самой это в голову пришло?

— С волками жить — по-волчьи выть.

— Чепуха. Заниматься низостью на чужую низость — непристойно. Лучше я отдам им все деньги, чтобы выручить внучку.

— И останешься нищим? А они их пропьют.

— Пусть. Плевать. Машенька дороже. И потом заплачу им не просто так, а потребую подписать бумагу, заверенную нотариусом, что искомая сумма окончательна и другой требовать не станут.

— Полагаешь, это их остановит?

— Я надеюсь.

— Ты смешной фантазер, ничего не понимающий в жизни.

Но, конечно, поступили, как он хотел. Через день приехал Поммель и привез письмо от Пьера: тот обещал вернуть девочку за 400 тысяч ливров. После долгих препирательств мы сошлись на 200. Основную часть внес Фальконе, остальное — я. Пригласили нотариуса и оформили сделку юридически. А Поммель привел Машеньку, ждавшую нас тогда внизу в карете. Бросились друг другу в объятия, плакали от счастья.

Мэтр сказал сыну, что отныне не хочет ни видеть его, ни слышать, пусть идет ко всем чертям. Пьер смеялся и говорил, что с таким деньжищами у него не возникнет ни малейшей потребности общения ни с женой, ни с дочкой, ни с отцом. На такой ноте и расстались.

А когда все уже пришли в себя и повеселели, неожиданно услышали от Мари-Люси:

— Вы напрасно злитесь на папа, он хороший. Не читает нотаций и не заставляет мыть руки перед едой. С ним легко.

— С нами, получается, тяжело?

Чуть смутившись, девочка ответила:

— Нет, я вас, конечно, тоже люблю. Но люблю и его, моего папа. Пусть он непутевый, только мне нравится.

Вот вам и детская «благодарность». Отдаешь им здоровье, нервы, знания, деньги, жизнь, в конце концов, а они принимают это как должное. Никакого сочувствия. Или это кровь Фальконе-младшего в ней играла? Впрочем, зря сердиться не буду: вскоре дочь забыла об отце и не вспоминала ни разу. Лишь спустя много лет... Но об этом чуть позже.

5

В 1783 году мне исполнилось тридцать пять. Празднеств я устраивать не хотела, но на званый обед пригласила близких мне людей. Кроме Машеньки и Этьена были мой брат с детьми, Александр Фонтен с дочкой и его сестра с двумя сыновьями. Собрались в Севре, где Филипп накрыл в мастерской мэтра, всем хватило места. Говорили добрые слова обо мне, о моих скульптурах и моей помощи в Фальконе-старшему в Петербурге. Я благодарила и кланялась. Сообщила:

— Скоро снова в путь.

Все наперебой стали спрашивать:

— А куда, куда? В Петербург?

— Упаси Боже! Хватит с нас России. Собираемся ехать в Италию

— Рим, Флоренция, Генуя, Венеция. Порисуем пейзажи, отдохнем, подлечимся. Девочке полезен морской воздух.

Гости одобряли. Разъезжались в хорошем настроении, мы их проводили до колясок. А когда вернулись домой, Фальконе

почувствовал себя плохо. Побежали за доктором, тот произвел кровопускание... Нет, не помогло.

Целую неделю боролись за его жизнь. Наконец, он очнулся, начал узнавать окружающих, понемногу и пить, и есть. Но не мог ни вставать, ни говорить. Я с Филиппом ухаживала за ним, как за маленьким ребенком...

6

Это были долгие, бесконечные восемь лет, о которых писать нет сил. Восемь лет болезни. Восемь лет отчаяния. Восемь лет лекарств, процедур, попыток реабилитации и потери надежд. Я совсем перестала ваять и рисовать, уделяя внимание только Этьену и дочке. Слава Богу, Мари-Люси радовала меня — занималась с учителями прилежно, много читала, говорила помимо французского на трех языках (русском, итальянском, немецком) и к семнадцати годам превратилась в стройную красавицу. Главное, унаследовала от деда голубые насмешливые глаза. И покладистость. Правда, иногда у нее случались вспышки гнева, чем напоминала отца, но довольно короткие — вспыхивала и гасла.

В эти годы пережили еще одну потерю — умер Дени Дидро. Я была на его похоронах. Возложила цветы на могилу от Этьена и от себя. Постояла, поплакала. Оборвалась предпоследняя ниточка, связывавшая меня с юностью. А последней был сам Этьен.

Иногда до нас доходили сведения о Пьере — о его кутежах и бесчинствах, но у нас в гостях он ни разу не был, Бог миловал. Говорили, что видели его во время штурма Бастилии в 1789 году на стороне восставших, а потом болтали, что как будто бы примкнул к якобинцам. Не имела понятия. Все революционные события промелькнули мимо нас. Мы с Мари-Люси волновались больше о здоровье Этьена, чем о жизни и судьбе королевской семьи.

Вскоре после встречи нового, 1791 года, Фальколне-старшему стало хуже. Он на пальцах и немногими словами, бывшими в его распоряжении, попросил меня разыскать Пьера, чтобы попрощаться. Не могла ни спорить, ни перечить. И поехала к брагу, чтобы получить от его свояченицы Марго и ее мужа-якобинца хоть какие-то сведения о

моем бывшем муже. Дело в том, что мсье... нет, теперь уже гражданин^[14] Марсо числился среди вождей революции и вполне мог знать о судьбе Фальконе-младшего. Так и вышло. 23 января Пьер приехал к нам в Севр. Выглядел неплохо, был опрятно одет и чисто выбрит, только весь седой и морщинистый. Сухо поздоровавшись, он прошел к мэтру в спальню. Их общение длилось полчаса. Вышел Пьер весь в слезах, совершенно потерянный и согбенный. Сел на стул, вытер щеки платком. И сказал глухо:

— Никогда не думал, что болезнь отца так меня расстроит... Казни сотен людей я переносил стойко, а теперь... а папа... — Он прикрыл глаза. — Черт возьми, как несправедлива жизнь! Отчего мы не ценим то, что имеем в юности? Начинаем ценить уже слишком поздно, и назад вернуться, чтобы все исправить, нельзя...

Встал и взял меня за руку:

— Извини, Мари, если пожелаешь... А не пожелаешь — так хотя бы не держи зла...

Я ответила:

— Полно, полно, Пьер. Все давно забыто.

Тут к нему шагнула Машенька:

— Ты не узнаёшь меня, дорогой отец?

Фальконе-младший вздрогнул:

— Ты?.. Это ты?.. Вот не ожидал!..

И они крепко обнялись.

— Можно мне, папа, поучаствовать в вашей революционной работе? На дворе перемены, мы же в стороне...

Отставной муж улыбнулся:

— Был бы только рад. Но боюсь, твоя мама не позволит.

— Не позволю, — отчеканила я. — Молодым девушкам в революции не место.

Он ответил:

— Как всегда, не права: молодых девушек с нами много. Революция — дело молодых. Потому что за ними будущее. Но решайте сами. Если что, приходи к нам в редакцию газеты «Друг народа». Главный там Марат, я же помогаю в части иллюстраций.

— Может, и приду, — усмехнулась дочка.

Фальконе-старшего не стало 24 января. Мы хотели сообщить Пьеру о дате похорон и отправили Филиппа по указанному адресу. Но

слуга вернулся растерянный: день назад во время стычки королевских гвардейцев и вооруженных толп Фальконе-младший был убит.

Так одновременно я лишилась двух моих мужчин.

Глава двенадцатая

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ФАЛЬКОНЕ

1

Мне хотелось забыться, убежать, скрыться от предметов, мелочей, ежечасно, ежеминутно напоминавших мне о нем. Не могла заходить в его кабинет, в его спальню, в его мастерскую. Всюду, всюду он. Вот его очки... Он их больше никогда, никогда не наденет. И они остались, а его нет. Вот его чернильница... Больше не обмакнет в нее перо. И она осталась, а его нет. Вот его перочинный ножик... Больше не заточит им перо. Нож остался, а его нет...

Выплакала все глаза.

Но потом слезы кончились, я смогла привести себя в порядок и решила уехать из Парижа, из Севра, далеко, и чем дальше, тем лучше, где начать с чистого листа. А тем более становилось все труднее ограждать Машеньку от идей революции. Дочка говорила, что хотела бы продолжить дело отца. Даже пыталась сбежать из дома — мне и Филиппу чудом удалось это обнаружить и предотвратить.

На моем счету в банке все еще лежала приличная сумма (и остатки моих петербургских заработков, и наследство, доставшееся нам с Мари-Люси от Фальконе-старшего, и к тому же по-прежнему поступали деньги, назначенные Екатериной П). Я рассчитывала купить домик в провинции, перебраться туда и забыть все мои печали. Но куда, куда?

Тут на помощь пришел Филипп. Он сказал:

— А хотите в Нанси? Я ведь сам из-под Нанси. Там живет моя двоюродная сестра и ее дети, значит, мои племянники. Могут присмотреть для вас дом с палисадником. Я и сам бы возвратился на родину. Упокоиться хотел бы в родной земле.

Написали его сестре. Вскоре получили ответ: есть отличный дом в Маримоне (это три часа езды от Нанси, посреди лесов и полей, в полном уединении), но немного запущенный, потому как заброшенный; привести его в порядок не составит труда, и цена

вообще смехотворная — 8 тысяч ливров. Господи, да это же даром! Но действительно ли пригоден он для нашего проживания? Все-таки мы привыкли к минимальным удобствам, и совсем в курятнике поселяться нелепо. Я решила положиться на сметку слуги — снарядила Филиппа в дорогу. Он уехал в первых числах мая и вернулся в конце июня — отдохнувший и просветленный. Сообщил: дело в шляпе, договор о купле-продаже с префектурой подписан, если мадам подпишет тоже и отдаст деньги, сделка совершится; если мадам откажется, то подпишет и заплатит он сам и уедет туда жить, так как это райское место.

— Правда? Расскажи поподробнее.

Начал живописать и буквально влюбил нас заочно в этот продающийся дом: лес, цветущие долины, рядом речка, пруд, деревенька крохотная, только шесть дворов, но церквушка есть, можно у крестьян покупать молоко и сыр, свежую рыбу и грибы с ягодами. А ближайший городок Бурдонне в получасе езды в экипаже. Там как раз и живет его родня.

— Ну а дом, а дом — не полная развалюха?

— Совершенно нет, мадам Мари. Крепкий, каменный, под хорошей черепицей. Прежние вельможные хозяева убежали в начале революции, побросав имущество на произвол судьбы. Новая же власть, префектура, земли и зацапала. А теперь распродает по дешевке. Главное, чтобы вы не были дворянкой. Остальное их не интересует.

— Сколько этажей?

— Два. В общей сложности восемь комнат. Не считая залы, кухни и ванной. Сад с плодовыми деревьями. Но, конечно, заросший, надо доводить до ума.

— Стало быть, советуешь?

— Вам — как самому себе. При одном условии. Нет, не при условии, а при просьбе... пожелании... как хотите.

— Ты про что?

— Разрешите по-прежнему состоять при вас и при вашей дочке? Помогать в меру сил?

Я его по-дружески обняла:

— Господи, Филипп, о чем разговор! Ну, конечно, поедem и поселимся вместе.

У него на глазах заблестели слезы благодарности. Молча поцеловал мне руку.

Машенька вначале ехать никуда не желала, все рвалась на парижские баррикады (говоря образно), но когда я сказала, что ведь революция — не только в Париже, а по всей стране, и в Нанси, и в Бурдонне, тоже требуются коренные перемены, — нехотя согласилась.

Мы сложили вещи, скульптуры и картины, оставшиеся от Фальконе-старшего, к середине июля. А в начале августа 1791 года в первый раз переступили порог нашего нового жилища.

2

Что сказать? Дом оказался даже лучше, чем его описывал Филипп. Не такой уж запущенный. Сохранилась и мебель, а в комод — постельное белье. Кое-какие картины по стенам. Люстры. Мы с Машуткой при поддержке Филиппа и двух девушек-крестьянок (он их нанял в деревне) быстро навели первичный порядок. А еще два парня из крестьян убрали в саду. Словом, в сентябре мы уже наслаждались жизнью в деревне в полной мере, сидя под навесом в саду и по-русски гоняли чай из самовара. На деревьях чирикали птички, пахло свежей выпечкой, и коричнево-рыжий кот по кличке Герцог ластился к нашим ногам, радостно мурлыкая. Красота! Идиллия!

Любопытна история прежних хозяев дома. Он принадлежал действительно герцогу — Арману-Эммануэлю дю Плес-си Ришельё. Встретивший в штыки революцию, тот бежал из Франции в Россию, поступил к Екатерине II на военную службу и впоследствии стал генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии. Так что адмирал де Рибас и дюк Ришельё^[15] строили Одессу вместе. Тесен мир! Де Рибас женился на дочери Бецкого, я же поселилась в бывшем доме дю Плесси! Да, чудны дела Твои, Господи!

Машеньке исполнилось восемнадцать лет. Стройная, высокая, с вьющимися темными волосами и голубыми глазами, поражала всех мужчин красотой и изяществом. И никто бы не сказал, глядя на нее, в шелковых одеждах, кружевном чепце и небедных украшениях, что она — внучка рядового башмачника. Впрочем, после революции это не только не имело значения, а наоборот, выходцы из самых низов делали при новой власти головокружительную карьеру.

В том же году она познакомилась со своим будущим мужем. Этот случай настолько занятен, что заслуживает специальной главы.

3

В нашей деревне, как я уже писала, был церковный приход, чудом сохранившийся, несмотря на революционный атеизм, и служил там отец Даниэль, полноватый 40-летний мужчина доброй наружности. Мы с ним подружились, приглашали в гости и за ужином нередко обсуждали местные и заграничные новости. А потом его перевели в городок Люневиль, это ближе к Нанси, чем к нам, он уехал, пообещав нас не забывать и писать. Что ж вы думаете? Не прошло и месяца, как мы слышим конский топот во дворе. Открываем, смотрим — всадник, офицер, на лошади. Спешившись, представился:

— Колонель ^[16] Янковиц, прибыл с поручением от его преподобия отца Даниэля, — и протягивает пакет.

А в пакете вяленые яблоки, обожаемые мною, и письмо. Там обычные реверансы, впечатления о новом месте службы и приписка: *«Не без умысла отправляю я к вам полковника Янковица — он командует отрядом национальной гвардии в Люневиле; и письмо мое — лишь предлог познакомить этого достойного человека с Вашей дочерью. Я ему ее описал, и заочно он уже влюблен. Пусть подружатся. Вы ведь знаете, как я искренне тепло отношусь к Вам и к Машеньке. И плохого человека не рекомендовал бы».*

Звали Янковица Антуан. Утверждал, будто бы его предки — венгры, но подозреваю, что на самом деле — венгерские евреи, перешедшие в католичество, впрочем, вряд ли это важно. А в последнее время Янковицы служили при дворе польского короля Станислава Лещинского — тестя нашего Людовика XV (то есть дочь Лещинского и есть французская королева Мария-Антуанетта). А когда Лещинский отрекся от польского престола (опускаю подробности, ибо в польских делах сам черт ногу сломит), перебрался во Францию, где его зять, Людовик XV, подарил тестю городок Люневиль и окрестности. Тут пан Станислав и зажил со своим двором, включая Янковицей, а потом трагически погиб (он уснул около камина, загорелся и умер от ожогов). А Людовик вернул Люневиль под свою

корону, но никто из свиты бывшего польского короля на родину не уехал. В том числе и Янковицы. Антуан родился вскоре после смерти Лещинского — в 1769 году, а когда подрос, то окончил школу прапорщиков и сделался офицером. После революции встал на сторону восставших и возглавил национальную гвардию Люневиля (а нацгвардия тех времен — вовсе не регулярная армия, к ней подходит русский термин «ополчение», то есть вооруженный люд, добровольцы).

Антуан был высок и широкоплеч, с черными как смоль волосами и красивыми карими глазами, но совсем не насмешливыми, как у Фальконе и у Машеньки, а печальными, выражавшими грусть еврейско-венгерско-польского народа. Говорил по-французски безукоризненно, чрезвычайно учтиво, обходительно, обнаруживая неплохие знания в музыке, литературе и изобразительном искусстве. Между прочим, он сказал:

— Знаю, что мадемузель Мари — внучка величайшего скульптора Фальконе. Видел в газете изображение его памятника Петру в Петербурге. Это шедевр. Счастлив познакомиться с вами.

Мы ответили, что счастливы тоже.

Угостили его обедом, Антуан ел предложенные ему блюда с аппетитом и нахваливал наше кулинарное мастерство, мы смеялись. Машенька на клавесине, а Филипп на свирельке уладили слух гостя несколькими мелодиями. А потом мы сыграли в карты. Во втором часу пополудни он заторопился и, поцеловав нам ручки, ускакал во весь опор, обещая когда-нибудь еще заглянуть.

— Ну, что скажешь? — я спросила Машеньку после отъезда Янковица.

Улыбнувшись, дочка проговорила:

— Очень милый молодой человек. Если бы он сделал мне предложение, я бы согласилась.

— Ты серьезно?

Егоза хохотнула:

— Да, почти. То есть замуж мне пока рановато, рассуждаю чисто теоретически.

— Значит, он тебе понравился...

— Что скрывать? Да, понравился. Ощутила в нем родственную душу.

— Это самое главное.

Антуан приезжал к нам в гости регулярно, раз в две-три недели обязательно, привозил подарки, а в конце сентября 1792 года попросил у меня руки моей дочери. Я кивнула:

— Если Машенька не против, я не против тоже.

Машенька ответила утвердительно.

Свадьбу сыграли в октябре в Люневиле, проводил бракосочетание отец Даниэль, а Мари-Люси вывел к алтарю верный наш Филипп. Молодые поселились по месту службы Антуана, мы же со слугой возвратились к себе в Маримон.

Так мне сразу сделалось непривычно в доме без доченьки! Без ее голоса, звонкого, игривого, без ее запаха. Только Герцог, распушив хвост, важно дефилировал по комнатам, полагая, что теперь он здесь главный.

Как и я, Машенька смогла родить только с третьего раза. В 1806 году подарила мне внука, получившего после крещения имя Ансельм.

4

Годы бегут стремительно, мне уже перевалило за семьдесят. Но еще пока в здравой памяти и хожу сама. Обитаю по-прежнему одна, лишь служанка Жанна помогает по дому (дорого Филиппа похоронили семь лет назад). Есть собака, новый кот, но, конечно, человеческого общения часто не хватает. Что поделаешь! Я не жалею. И совсем не жалею ни о чем. Все, что происходило, вспоминаю с удовольствием.

Пережили Наполеона, слава Богу. Мне он был всегда малосимпатичен. Выскочка и позер. Думал только о своей славе, загубив во имя нее четверть нации. А когда в 1814 году наступали союзники на Париж, все боялись русских, кроме меня, знавшей, что они зря губить французов не станут. Так оно и случилось. Антуан перешел на сторону Бурбонов, и когда воцарился Людовик XVIII, тот присвоил моему зятю титул барона. Машенька теперь именуется «баронесса де Ян-ковиц». Да, забавно. Никогда не думала, что сделаюсь матерью баронессы!

Брат в Париже продолжает вести дела, но по большей части формально, передав бразды правления магазином и мастерской сыну.

Марк давно женат, у него трое ребятишек — стало быть, моих внучатых племянников, из которых я никого не видела. Замужем и Жюстин, но детей не имеет.

Александр Фонтен скрипит понемногу, правда, уже давно не работает сам в бывшей мастерской Лемуана. Дочь его — мать двоих детей, сыновей, оба стали военными и служат на флоте. А вот сын, тот, который от Поммеля, оказался пройдохой — схвачен был на грабеже и пропал на каторге.

И в семье Маргариты, младшей сестры Александра, тоже счастья нет: муж во время террора был гильотинирован, как и многие видные якобинцы, сын служил в наполеоновской армии и погиб в Египте, а второй во время обороны Парижа потерял ногу.

Любопытна судьба де Ласкари. Он, как уже писала, убежал из России под именем графа Корбури и в Париже (это было еще при жизни Этьена Фальконе) напечатал книжку своих воспоминаний о работах по доставке Гром-камня из Лахты в Петербург. Разумеется, приписал себе очень многое — от идеи передвижения валуна на медных шарах до всеобщего руководства операцией. Но рисунки и чертежи, помещенные в книге, настоящие, увезенные им с собой при бегстве, и послужат будущим историкам, кто из них заинтересуется воздвижением памятника Петру.

Дальше, по рассказам (в основном от князя Голицына), де Ласкари (он же граф Корбури) возвратился к себе на родину в Грецию, где купил обширные земельные участки, чтобы заниматься сельским хозяйством. Но его горячий нрав снова проявился — он повздорил со своими работниками, и они его убили. Мир праху этого человека! Лично нам с Этьеном он только помогал.

Что еще сказать? Радуюсь письмам от родных. Получаю газеты и журналы — узнаю новости. В том числе из России. Нет давно на свете Бецкого и Екатерины П, вскоре сгинул и Павел Петрович. Александр I во главе союзников одолел Наполеона. Петербург процветает. Памятник Петру превратился в один из его символов. Иногда мне даже не верится, что имею отношение к его воздвижению. Было ли это с нами на самом деле? Или только пригрезилось?

Мне приснился сон. Я стою в Петербурге на Сенатской площади, рядом с монументом Петру. Ночь. Неясные тени. Слышу лязг за спиной — поднимаю голову и вижу, что на вздыбленном коне вовсе не император, а императрица — Екатерина II. Не живая, а бронзовая. Тем не менее смотрит на меня и гулко произносит:

— Милое дитя, я беру тебя с собой, поскакали! — И протягивает мне металлическую руку.

Я в испуге шарахаюсь:

— Нет, нет, мне пока с вами рано, ваше величество.

Государыня обижается:

— Ну, как знаешь. Да-с, была бы честь предложена. Твой Фальконе тебя заждался.

И, взнуздав коня, устремляется вдаль гигантскими скачками — через Неву, через весь Петербург...

Я просыпаюсь в страхе. Что бы это значило? Скоро ль мне скакать вслед за ней? Цоканье копыт медной всадницы до сих пор стоит у меня в ушах.

Казовский Михаил Григорьевич

МАДЕМУАЗЕЛЬ СКУЛЬПТОР

Выпускающий редактор *С.С. Лыжина*

Художник. *Н.А. Васильев*

Корректор *Л.В. Суркова*

Верстка *И. В. Резникова*

Художественное оформление и дизайн обложки *Е.А. Забелина*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1. Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес: 129337, г. Москва, а/я 63.

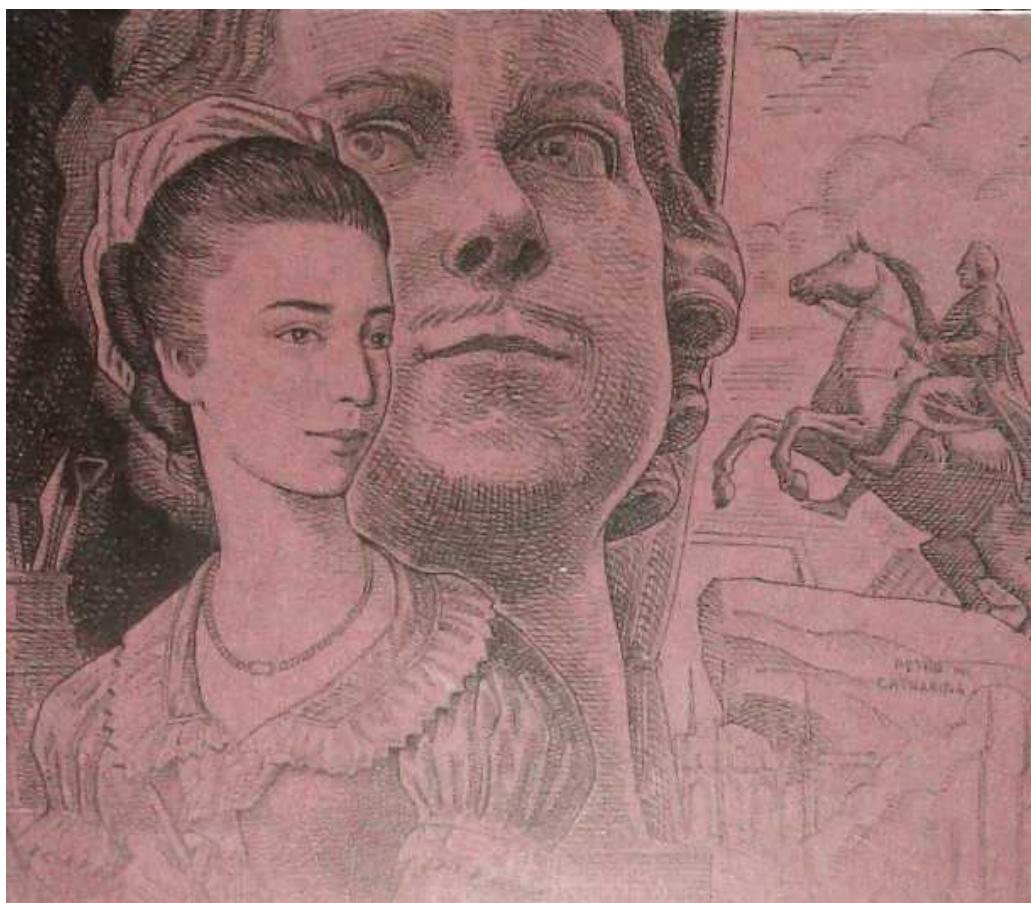
Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

Е-mail: veche@veche.ru <http://www.veche.ru>

Подписано в печать 20.01.2021. Формат 84 * 108 ¹/₃₂. Гарнитура «Times». Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 8 Тираж 1500 экз. Заказ № 5414.

Отпечатано в Акционерном обществе «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8. e-mail: prmtng@r-d-p.ru р-д-п. рф



XVIII век. Князь Голицын, посол России во Франции, по приказу Екатерины II ищет в Париже скульптора, который сумел бы воплотить замысел императрицы — создать памятник Петру Великому. По рекомендации энциклопедиста Дени Дидро выбор падает на выдающегося мастера — Этьена Мориса Фальконе. Скульптор, конечно, соглашается, еще не подозревая, в какую авантюру ввязался. Хорошо, что поехал в Петербург не один, а взял с собой юную ученицу — Мари-Анн Колло, которая полна решимости во всем помогать учителю...

ISBN 978-5-4484-2599-8



9 785448 425998



notes

Примечания

1

Cochon — свинья (*фр.*).

Fontaine — фонтан, водоем (*фр.*).

3

8,23 м вышины, 13,4 м в длину, вес 1200 тонн.

Жюскор — нечто среднее между пиджаком и сюртуком.

200 сажень — 450 метров. Целиком же путь камня по суше составлял примерно 8 км.

6

Wunderbar — прекрасно (*нем.*).

7

Соответственно: 60 м, 20 м, 3 м, 2 м.

8

Около 13 км.

Pomme — яблоко (*фр.*).

Бельгия тогда входила в Священную Римскую империю.

Царь вошел на престол в 1682 г.

Предположительно, фамилия Falconet, Falconetti имеет итальянские корни. От falcone — сокол (*итал.*). Ср. также Falk — сокол (*нем.*).

Като — домашнее прозвище Екатерины II.

В ходе революции во Франции были отменены обращения «мадам» и «мсье» и введены «гражданка» и «гражданин».

Due — герцог (*φρ.*).

Colonel — полковник (*фр.*).